

ISSN 0130-3600

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1979

11

10.335
1979

საქართველოს
საბჭოთავო
საზოგადოებრივი
მეცნიერებათა
აკადემიის
ლიტერატურის
სამეცნიერო ცენტრის
გამომცემლობა

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Лордкипанидзе К. «Заря Колхиды». Роман. повести и рассказы. Пер. с груз. Москва, 1979. 560 с. 150.000 экз. 2 р. 50 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Алхазидзе Г. «Город воспоминаний». Книга стихов. Пер. с груз. В. Шленского. Москва, 1979. 63 с. 10.000 экз. 25 к.

«МЕРАНИ»

Гегешидзе Г. «Гость». Роман. Пер. с груз. А. Беставаши и В. Федорова-Циклаури. Тбилиси, 1979. 312 с. 20.000 экз. 85 к.

«САБЧОТА САКАРТВЕЛО»

Златкин М. «Когда книга сближает народы». Встречи, беседы и размышления. 2-е доп. издание. Тбилиси, 1979. 279 с. с ил. 15.000 экз. 1 р. 50 к.

«МЕЦНИЕРЕБА»

Джинчарадзе Д. «Поэтическая летопись дружбы». Грузия в рус. сов. поэзии. Тбилиси, 1979, 84 с. 1.300 экз. 45 к.

10.335
1979



Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

- ТАРИЭЛ ЧАНТУРИЯ. Стихи. Перевод Юнны Мориз 3
- ВАЖА КУБУСИДЗЕ Стихи. Переводы Михаила Синельникова, Натальи Орловой, Глана Онаняна, Гины Челидзе 64

ПРОЗА

- ГУРАМ ПАНДЖИКИДЗЕ. Год активного Солнца. Роман. Перевод Ушанги Рижинашвили 15

ПУБЛИЦИСТИКА

- ДОБРЫЕ ДЕЛА АБАШЦЕВ. Беседа с первым секретарем Абашского райкома партии Г. Д. Мгеладзе 69

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- ГУРАМ АСАТИАНИ. Обычное и исключительное. (Эстонско-грузинские параллели) 79
- ПАВЕЛ НЕРЛЕР. Эпическая прививка. (О стихах Михаила Синельникова) 97
- СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА, «В усилии к будущему времени...» (Философия Андрея Платонова) 104

11
1979

РЕЦЕНЗИИ

ДМИТРИЙ ТУХАРЕЛИ. Четыре книги о дружбе 122



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

АБРАМ КАПЛАН. «Тбилиси — основной старт
моей литературной деятельности». (Фридрих
Боденштедт и Грузия) 128

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ

Ю. Н. МАРР В СИРИИ. (Публикация С. М.
Марр.) 131

ИСКУССТВО

ЭТЕРИ ГАЛУСТОВА. Актер искал драматурга
(Письма Серго Закариадзе к Отиа Иоселиани) 145

ШОТА ЛЕКВЕИШВИЛИ. Царица Тамар и Ры-
бинск 155

АННОТАЦИИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ» 156

ХРОНИКА 158

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА 160

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алек-
сей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛА-
ШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответст-
венный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГ-
ВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ,
Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (за-
меститель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

НАШ АДРЕС: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора —
93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59,
отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел
критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очер-
ка — 93-65-19.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

УЛЫБКА

И увидел я девушку эту внезапно в толпе:
как двенадцатую матрешку,
крошку нечаянной радости!

Мой отчаянный, жадный взор
отрубила она, как топор!
И нахмурилась и отвернулась,
и только в вагоне метро,
увозящем ее в громовое нутро,
на прощанье она оглянулась —
и мне улыбнулась...

Нет сомненья, что девушку эту проглотит забвенье,
но, быть может, надежда какая-то есть на спасенье,
на спасенье в бесхитроном, маленьком стихотворенье
этой хмурой улыбки, хмурой такой улыбки...

ШЕПОТ, НАШЕПТАННЫЙ ШЕПОТОМ

Этот шепот собрать бы! Этот шепот собрать бы!
Аудиторный и коридорный,
Этот лестничный шепот поминок и свадьбы,
Этот зала судебного шепот соборный,
Этот свернутый шепот осенней осины,
Этот шепот, прильнувший к замшелому камню,
Этот шепот вагона в качании синем,
Этот ужаса шепот, сдавивший дыханье,
Этот вдоль по рядам проносящийся шепот...
Этой гальки у моря разбросанный шепот,
Этих зал хирургических замкнутый шепот,
Этот вдоль по рядам проносящийся шепот...
Этот шепот собрать бы! Этот шепот собрать бы!
Сразу в тысячу шепотов так заорать бы,
Чтоб услышать, как тысяча шепотов станет
Воплем, криком единым — сольется, спасется!
...Снова утро! И снова завянет, завянет
Золотая ромашка вечернего солнца!

* * *

Ночлег мне стелет в зале дочь хозяйки.
О небе думаю, летает снег за шторкой,
ель зверски срублена у дома на лужайке —
как туз валяется, угробленный шестеркой.

Лежу недвижно в зале звонкой, мгливой,
гляжу, как сходит снег на землю с неба,

фуганок слушаю соседский, голосистый.
И снегом — к снегу, прибавляю горстью снега...



* * *

Двух линий достаточно, чтобы скреститься
в классический угол. Должны поместиться

в углу колыбель, и огонь синеглазый,
и греться бутылки должны с молоком.
и белеть подоконник — с китайской розой,
в земле покупной и с увядшим листком.

ДУРАЧОК

Глупые малые дети
грязью швыряли в районного доброго дурачка,
потому что глупые дети знали наверняка:
только дурак-дурачок
за такие игрушки
не отрывает нежные детские ушки,
(только у дурачка есть дурацкая эта способность
спрощать малолетнюю злобность
мальчикам глупым и девочкам).
Ведь малые глупые дети
грязью в добрых швыряют дурачков
научились от умников злобных...

Дети... дети... детеныши...
эх, вы, дурни... звереныши!

ПЕСНЯ БОГАТОГО ТИФЛИССКОГО КУПЦА

Так, как я, не процветал
никакой купец другой:
утром голубя продал —
ночью дома голубь мой!

На завидки всем купцам
я богаче королей:
ночью цуцыка продам —
утром цуцык у дверей!

Фунтов, долларов, рублей,
Франков, талеров, гиней —
У меня звенит река,
Я б над ней сидел века!

Но на радость всем купцам
Я несчастней муравья:
ночью замуж дочь отдам —
утром дома дочь моя!

Все же сладко над душой
во дворе поет чинар:
— Это, ой, как хорошо,
если дома весь товар!

Если даже голубь — дома!
Если даже цуцык — дома!
Дома — дочка у отца!
И — все дома у купца!

ДЖЕК

Отца увели — ты завыл, как собака.
Отца привели — ты завыл, как собака:
простышкой он стал, белизною и синькой.
Мать увели — ты завыл, как собака:
мать увели... «Будьте умными, дети...»
Мама — живая, а ты забываешь,
что-то собачье не забываешь!
Горькое детство я кровью проплакал!
От тебя научился я выть, как собака...
Научиться бы лаять, бросаться, кусаться...

ЛЮБОВЬ САДОВНИКА

Продам я гвоздику. И розы куплю.
Розы продам. И фиалки куплю.
Все я отдам за букетик фиалок —
Этой ценою тебя я куплю!

Я поведу тебя в сад, а потом
Я поведу тебя в дом, а потом
Я поведу, поведу тебя в небо —
Молодость в небе живет золотом!

Струнами радуг мы будем играть,
Дождь в облаках для гвоздик собирать —
С неба дождем мы сойдем на гвоздики,
Будет гвоздика так жарко пылать!

Продам я гвоздику. И розы куплю!
Розы продам. И фиалки куплю!
Все я отдам за букетик фиалок —
Дочку фиалок за них я куплю!

И сыночка фиалок за них я куплю!..

РАСПЯТИЕ

Одетая в траур мачеха
двадцать лет берегла
единственный пиджачок
на войне убитого Тутта Мокия.

Молоденькая невестка
распяла на рисовом поле,
распяла на черном кресте
единственный пиджачок
единственного, таинственного,
годного ей в женихи,
на войне убитого деверя —

распяла пугать воробьев...

ПЫЛЬ НА РОЯЛЕ УМЕРШЕГО ДРУГА

Природа тебя сотворила, играючи, —
задумала в пыль превратить сначала,
потом — написать на ней пальцем записку:
«Была у тебя,
никого не застала...».

ЗИМА

...Платаны раскачивала метель,
расписывал иней оконные стекла,
и мама всех раньше ложилась в постель,
чтоб стала постель моя мягкой и теплой.
Всех раньше вставала, шуршала метелкой
и чиркала спичкой, варила, пекла,
ведь завтрак детенышу нужен был теплый,
горячий обед... много-много тепла...
Она умерла работящей, двужильной,
и боль за меня — в ее тайне могильной.
Нет, прясть она больше не может в метель,
и чистое сердце засыпано чистым,
небесным, сияющим снегом. Быть может,
так рано легла она в эту постель
и так поспешила она умереть,
чтоб телом согреть это хладное ложе,
чтоб эту постель мою — тоже согреть...

* * *

Сейчас мы вместе, все пришли домой,
моя сестра кентавра вышивает,
сейчас мы вместе — это навевает
тепло и грусть — мы вместе... Звон немой...

От радости сейчас ты сам не свой,
а почему — ты знать еще не можешь.
Еще уйдешь. Мы все уйдем... Но все же —
сейчас мы вместе, все пришли домой...

Перевод Юнны МОРИЦ

штиль. Убитому все безразлично, он лежит себе в могиле, обогащая фосфором родную землю.

Резо обернулся и впился взглядом во врача, а точнее в гитару. Я чувствовал, что его бесят безмятежный тон Эльдара и жалобное постанывание струн.

Видно, Эльдар заметил гнев, блеснувший во взоре Резо. Он отложил гитару в сторону и смело скрестил с ним свой взгляд.

— Я борюсь ради людей, уважаемый Эльдар, ради людей! Нельзя допустить, чтобы народ утратил веру в справедливость. Нельзя допустить, чтобы людей запугали и превратили в трусливых баранов.

Статичная сцена:

Раскрасневшийся Резо застыл на месте с вытянутой рукой. Эльдар, откинувшись на спинку стула, невозмутимо смотрит в одну точку на стене.

Я неподвижно горблюсь у стола.

Наконец кадр сдвинулся с мертвой точки, и на губах главного врача созрела ироническая улыбка.

— «Ради людей, ради людей», — передразнил главврач Резо. — Может, нам лучше выпить?

Эльдар подвинул стул к столу и налил себе вина. Потом, заметив мой пустой стакан, наполнил его, поставил бутылку на стол и чокнулся со мной.

— Давай выпьем за людей. Я не против людей, наоборот, на людей я и работаю. Мы все, сидящие в этом великолепном зале, служим его величеству народу, а мы, врачи, тем более. Вы, господин прокурор — служитель правосудия и вполне можете себе позволить не предложить стула какому-нибудь там ворюге или проходимцу, более того, при надобности можете дать им и тумака. Я же обязан провести химический анализ их мочи и массировать их болящие ребра. И я это делаю. Не скажу, чтобы с большим удовольствием, но все же делаю. И притом, как говорят в районе, не так уж и плохо. В общем, всем, чем умею, я служу людям. Если говорить начистоту, и я бы мог перебраться в Тбилиси, но, как видишь, застрял в этой глухой дыре. Никто не посмеет меня упрекнуть, что я не служу людям. Служу, и еще как служу, и незачем от меня требовать того, что мне не под силу. И еще: разрешите мне иметь собственное мнение о людях. Между прочим, не сегодня, так завтра и ты разделишь мои соображения о людях. Итак, выпьем за людей!

Эльдар выцедил вино до дна, поглядел в пустой стакан, усмехнулся каким-то своим мыслям и поставил стакан на стол.

— Я расскажу тебе одну любопытную историю, — обратился Эльдар ко мне. — Я приехал сюда наивным романтиком. Единственное, о чем я мечтал тогда — вот приеду, дескать, в отдаленный горный район, к которому кроме как на лошадях и не подступишься, стану лечить людей, выплню свой гражданский долг. А чтобы с большого деньги брать — боже упаси, даже в мыслях у меня такого не было! С первого же дня на меня стали смотреть с подозрением — да будь он, мол, стоящим врачом, разве приехал бы в это богом забытое место. Дальше больше. Стоило им пронюхать, что я с больных

денег не беру, вообще перестали меня за врача считать. Врач который не берет с больного деньги, для людей не существует. Вот так, товарищ прокурор.

Последние слова Эльдар произнес с горячностью, никак не вязавшейся с его флегматичной натурой. Впрочем, в его театрально-патетической интонации явственно сквозили нотки юмора.

— Между прочим, точно так же станут говорить и думать о тебе! — после небольшой паузы уже с обычным спокойствием заключил он и сладко зевнул.

Пауза.

Резо вновь вскочил с места и подошел к окну.

— Ну и что дальше? — спрашиваю я.

— Что дальше?

Молчание.

— Ну, а дальше романтика испарилась. Бесследно. Жизнь затянула меня в свой водоворот. Я понял, что смешно сидеть в этой глухомани и думать о светлом будущем человечества.

Эльдар негромко хихикнул.

— Я выяснил ставки гонорара моего предшественника и стал брать больше. Авторитет не заставил себя долго ждать. Странная штука человеческая психология: если ты не содрал с близких больного деньги, и притом вперед, они убеждены, что ты не лечишь больного, а если и лечишь, то из рук вон плохо. Чем больше денег ты с них сдерешь, тем больше они спокойны за судьбу больного. Вот я и беру. И руки у меня уже не дрожат, и брови не хмурятся. К тому же все довольны: и больные, и их близкие, и моя теща. А твой брат вот желает мир переделать, вернуть веру людям. Люди силу уважают, друг ты мой, а в чем сегодня эта сила заключена, вы и без меня прекрасно знаете.

Эльдар посмотрел на часы.

— Уже второй пошел. А утром нам всем рано вставать... Так что, дорогой мой Резо, — продолжил Эльдар давешний разговор, — чем раньше ты распрощаешься со своими романтическими бреднями, чем быстрее отдашься течению жизни, чем крепче обуздаешь свои нервы, тем лучше для тебя. Да и не только для тебя, братец...

Телефонный звонок, непрерывный и долгий. Так обычно звонит районная подстанция.

— Я слушаю! — Резо резко схватил трубку и после непродолжительной паузы молча посмотрел на Эльдара.

Эльдар понял, что звонят ему, нехотя поднялся и взял у Резо трубку.

— Что случилось? — не мешкая, взял он быка за рога.

Лицо его помрачнело, и он снова взглянул на часы.

— Ладно. Через час, максимум через полтора я буду у вас. Уложите больного на спину и постарайтесь, чтобы он не двигался.

Эльдар медленно опустил трубку на рычаг.

— Везет, ничего не скажешь.

— Что случилось?

— Больной очень плох, инфаркт, по всему видать... А лечение это у черта на куличках... И добраться до него непросто.

— Хочешь, я поеду с тобой?

— Я-то не прочь, но тебе не советую.
— Ты с ума сошел, — заговорил молчавший до того Резо. — Да ты себе все печенки отобьешь, пока туда доберешься.
— Ничего страшного. Мы по дороге покалякаем. Кто знает, сколько лет мы не виделись.

— Твоя воля, только, чур, потом на меня не пенять.
Микроавтобус скорой помощи.

Шофер сидит впереди. Я и Эльдар устроились в салоне, где положено лежать больному.

После первого же километра мы свернули с шоссе и стали взбираться в гору.

Дорога разбита, машина то и дело подскакивает на ухабах.

Еще один километр, и только теперь я начинаю понимать, насколько опрометчиво было мое решение. Легкость и бодрость, сообщенные моему телу вином, исчезли без следа. Веки у меня слипаются, усталость взяла свое. Каким же утомленным должен быть человек, чтобы преспокойно заснуть, невзирая на тряску, выворачивающую наизнанку все внутренности.

Микроавтобус, кряхтя и надрываясь, лезет в гору.

Что меня заставило вызваться ехать в такую даль? Может, мне показалось романтичным посреди ночи забраться в это поднебесное селенье и прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде? А может, я просто соскучился по горам? Ни то, ни другое. Просто Резо был так взвинчен, что мне не хотелось оставаться с ним с глаза на глаз и спорить. Мне подумалось, что, может, оказавшись в одиночестве, он немного успокоится. Впрочем, когда это я успел подумать обо всем сразу? Когда я предложил Эльдару поехать с ним, у меня даже в мыслях не было ничего подобного. Выходит, я загодя решил то, что сначала должен был обдумать, а потом уже решать. Наверное, мое существо было психологически предуготовлено к принятию такого решения. Видно, мой организм интуитивно почувствовал, что должно было прийти мне в голову минуту спустя и как я должен был действовать.

А веки слипаются. Сну нипочем ухабистая дорога.

— Осталось совсем немного. А я ведь предупреждал тебя, не надо было со мной ехать.

В салоне темно, но наметанный глаз Эльдара отлично видит, в каком я состоянии.

Я энергично мотаю головой, стараясь стряхнуть и отогнать от себя прилипчивую дремоту.

Машина с натугой ползет вверх.

В свете фар на мгновение сверкнули глаза дикой кошки.

— Как ты думаешь, что стряслось с Резо? Что выбило его из колеи? Может, он набрел на какое-то старое дело?

— Он молод, и кровь у него бурлит. А ведь он пока еще не усвоил одной простейшей истины — бороться со следствиями не имеет никакого смысла. Коль скоро наш прокурор решил стать защитником правопорядка и справедливости, пусть он борется с причинами преступлений, а не со следствием.

— И все же, что за дело он выкопал из архива?

— Года три тому назад в километре от райцентра на шоссе возле ресторана машина насмерть задавила пьяного. У Резо

возникло подозрение, что человека этого убили его сотрапезники, а машина переехала труп уже после смерти.

— Мой брат пришел к подобному выводу сам или его кто-нибудь навел на эту мысль?

— Понятия не имею. Я его не спрашивал.

— Но есть ли основания для подозрений?

— Вполне возможно, что есть, но доказать что-либо очень трудно. С тех пор много воды утекло — шутка ли, три с половиной года. В свое время все завершилось без особых осложнений. Ни у кого не возникло ни тени сомнений. В деле лежит заключение эксперта, подтверждающее, что смерть наступила в результате наезда машины. Убийца с места преступления скрылся, и обнаружить его не удалось. Следствие не смогло установить ни типа машины, ни ее номера. Дело закрыли, и убийце все сошло с рук.

— Кто был убитый?

— Главный винодел соседнего района Анзор Джавахадзе. В наш район он наведался к друзьям. Он сильно выпил, сказал, что выйдет на воздух. Вышел, но назад уже не вернулся. Он направлялся по дороге к райцентру, наверное, в гостилицу. Когда его подвыпившие дружки спохватились, было уже поздно. Они бросились искать его и нашли мертвым на дороге. Машина сначала отбросила его в сторону и лишь потом переехала.

Молчание.

Я закурил.

— И мне дай.

При свете спички мне бросились в глаза багрово-сизые щеки моего однокашника.

— Если Джавахадзе, так, кажется, звали убитого, и впрямь переехала машина, что же тогда взбудоражило весь район?

— Кто знает! Может, твой брат и прав. Может, Анзора Джавахадзе и впрямь убили по злому умыслу, а потом искусно замели следы? Повторяю, вполне возможно. Однако ворошить это дело теперь бессмысленно. Люди давно уже и думать о нем забыли. Все успокоилось, уладилось, вошло в свою колею. Новые тревобления и заботы никому не нужны.

— А то, что убийца остался безнаказанным?

— Убийца? А разве мы установили, что Анзора Джавахадзе и вправду убили по злому умыслу?

— Допустим, что это так.

— Само слово «допустим» едва ли не исключает версию об убийстве!

Пауза.

— Ты когда-нибудь видел, как взрывают скалу динамитом? — неожиданно спросил Эльдар.

— Видел! — с изумлением ответил я. Признаться, вопрос друга показался мне неуместным.

— А ты наблюдал, как после взрыва летят камни?

— Да!

— Так вот, камни катятся довольно долго, их грохот разносится далеко окрест. Одни обломки застревают наверху, другие срываются вниз, третьи погребает лавина, а иные вообще

летят в сторону. Но в конце концов каждый из них ^{находит} свое место и каменная лавина затихает, не правда ли?

— Правда.

— Как только каждый камень обретет свое пристанище, равновесие и порядок восстанавливаются. Они укрепляют друг друга, являясь фундаментом и основой друг друга. Ни до одного из них нельзя дотрагиваться рукой. Тем более опасно хвататься за крупный камень, который поддерживает, связывает и укрепляет сотни других поменьше. Ты только представь, что повлечет за собой подобное действие.

— Представляю! — отзываюсь я в темноте.

— Но, к сожалению, этого-то и не может представить себе твой брат. А если Анзор Джавахадзе и вправду был убит, трогать теперь его убийцу означает изменить порядок множества камней. Многие из них неминуемо скатятся вниз, а других, даже оставшихся на своих местах, основательно потрясет и залихорадит.

Молчание.

Надсадный кашель машины.

— Кажется, приехали! — говорит Эльдар и, вытянув шею, безуспешно пытается разглядеть в ветровом стекле знакомые контуры селения.

Легко предположить, что эти диалоги состоялись в такой последовательности.

Но состоялись ли?..

Нет, все же состоялись.

На дворе было прекрасное июньское утро, когда незнакомец позвонил по телефону в кабинет прокурора.

А может, июльское?

Вполне возможно, что был уже вечер, а не утро.

А может, незнакомец пожаловал к прокурору самолично?

Маловероятно!

Нет, все же позвонил и условился о встрече на окраине райцентра, возле моста.

Резо пришел к месту в назначенное время. Еще издали он увидел щуплого мужчину лет эдак шестидесяти, облокотившегося на парапет моста.

Едва завидев Резо, незнакомец выпрямился.

«Здравствуйте», — нерешительно поздоровался он.

«Здравствуйте», — отозвался Резо и огляделся по сторонам.

Вокруг не было ни души.

«Закурим?» — Резо протянул незнакомцу пачку сигарет.

«Спасибо, я не курю!».

Пауза.

Резо неторопливо затянулся и швырнул спичку в реку.

«Это вы мне вчера звонили?».

«Да, товарищ прокурор».

«Почему вы пожелали встретиться со мной здесь? В моем кабинете нас никто бы не побеспокоил».

«Я вам хочу открыть тайну. А в прокуратуру прийти я поостерегся. В ту же минуту весть о моем визите к вам облетела бы весь район. Начались бы пересуды, с чего это, мол, нашему

учителю, и тому же математику, вздумалось ходить к прокурору».

«Так вы учитель?».

«Да. Я преподаю в старших классах во второй школе центра».

Резо с удовлетворением отметил, как ловко незнакомец вернул в беседу все данные о себе.

«Я приехал сюда совсем недавно. Вы еще не успели меня узнать. Что же побудило вас доверить мне вашу тайну? Может, я не вполне надежный человек?».

«Как я уже сказал вам, я — педагог и по одному виду человека могу определить его натуру. Мне кажется, что вы порядочный и принципиальный молодой человек. К тому же я узнал, что из-за вашей принципиальности и неподкупности вам пришлось дважды менять место работы».

«Благодарю за доверие. Я вас слушаю».

«Я пришел сюда не только из доверия к вам. Скажу вам без обиняков, товарищ прокурор, то, что я вам сейчас сообщу, повторять второй раз я не намерен. И в свидетели я вам не сгожусь. А в остальном вы сами знаете, как поступать».

«Тогда можете вообще ничего не говорить».

«Нет. Не сказать вам этого я не могу. Совесть не позволяет».

«Так чего же вы боитесь?».

«Во-первых, свидетель у нас защищен не так, как бы следовало. Потерпевшая сторона неизвестно что может вытворить по отношению к нему. Кроме того, вы человек приезжий. В один прекрасный день вы решите уехать отсюда, и поминай, как вас звали. А что вы прикажете делать мне? Никто не оценит мою правдивость, а вот заклятых врагов я наживу себе вдоволь...».

«Я вас слушаю».

«Здесь долго стоять не годится. Кто-нибудь заметит».

«Так, может, сядем в машину. Она у меня тут неподалеку».

«Это еще хуже. Стоит кому-нибудь увидеть меня в вашей машине, хлопот потом не оберешься».

«Как же в таком случае нам быть? По мне, так уж лучше поговорить здесь».

«Ладно. Очень прошу вас слушать меня внимательно и не упускать деталей. Только вот не знаю, откуда начать — с начала или с конца?».

«Как вам удобней».

«Три с половиной года назад в нашем районе убили человека».

«Кто убил?».

«Не знаю».

«Причина убийства?».

«И этого я не знаю».

«Какого он был возраста?».

«Кто, убитый или убийца?».

«Убитый, конечно. Вы же сказали, что не знаете, кто убийца?».

«Лет на пять-шесть старше вас».

«Имя и фамилия?».

«Анзор Джавахадзе».

«Где он работал?».

«В соседнем районе. Если не ошибаюсь, он был **главным** виноделом».

«И все же, что могло послужить причиной убийства? Наверное, здесь ходили разные слухи».

«В том-то и дело, товарищ прокурор, что никаких слухов не было. Убитого сначала унесли с места убийства, потом переехали машиной. В больнице составили соответствующий акт, подкрепив его заключением эксперта о том, что бедный винодел был мертвецки пьян».

«Чем же оправдывались его дружки? Что они сказали, каким образом гость очутился на шоссе?».

«Сказали, что он пошел в гостиницу отсыпаться».

«Как же это они отпустили гостя одного на произвол судьбы? Неужели никто его не провожал?».

«Хозяева утверждали, что вино ударило гостю в голову. Он вышел ненадолго проветриться и больше назад не вернулся. Пошел себе к райцентру. Ресторан, где они кутили, расположен в километре от райцентра. Да вы ведь и сами знаете это заведение, оно возле платановой аллеи, на косогоре. Не успел гость выйти на шоссе, как его тут же сбила машина».

«Почему вы усомнились в истинности этой версии?».

«Да по очень простой причине. Я своими глазами видел, как переехал труп «колхозник» директора лесного хозяйства».

«???».

«Да, да, своими глазами. Я возвращался из деревни. Узкая тропинка через кукурузное поле соединяется с шоссе в том самом месте, где и случилась эта страшная история. Анзор Джавахадзе был уже мертв, когда его переехала машина. Схронившись со страху в кукурузе, я от начала и до конца видел это омерзительное преступление».

«Одним словом...»

«Одним словом, — перебил прокурора учитель, — я полагаю, что Анзора Джавахадзе убил либо сам директор лесного хозяйства, либо кто-нибудь из его дружков. Все они в качестве свидетелей предстали перед судом. Их имена и фамилии зафиксированы в протоколе судебного заседания».

Молчание.

«О, как они всполошились, как они забегали для виду, просто с ног сбились! Кого только они не обзвонили, с кем не связались... Одним словом, искусно замели следы...»

«Не могу поверить, что это удалось им столь легко. Неужели у убитого не было родных и близких?».

«У него остались жена и ребенок. И еще брат жены. Поначалу переполох был невообразимый. Брат жены погибшего с пеной у рта грозился отомстить убийцам зятя. Но затем он вдруг утихомирился, похоронил зятя, а на суде был уже совершенно спокоен...»

«Так вы утверждаете, что они его подкупили?».

«Я ничего не утверждаю, просто предполагаю».

Пауза.

«К тому же, — продолжал учитель, — почему непременно надо думать, что его именно подкупили? Может, основательно запугали. Да будь он честным и порядочным человеком, ни подкупить, ни запугать его никому бы не удалось. Он, оказывается, и сам винодел. Он, видно, все хорошенько взвесил и пришел к выводу, что мертвому зятю ничем не помочь. Поэтому он предпочел промолчать и не обострять дела, дабы не навредить себе сильных врагов».

Пауза.

Резо курит.

«Хочу добавить еще одно, товарищ прокурор. Если Анзора Джавахадзе убил директор лесного хозяйства, это весьма осложнит дело. Гиви Барамидзе свой человек для первого секретаря райкома. Он и привез его сюда работать».

Резо облокотился на поручень моста, и, не мигая, уставился на течение реки.

Внезапно мост и оба берега одновременно сдвинулись и поплыли вверх по течению.

Учитель внимательно смотрит на Реваза Геловани, пытаюсь по выражению его лица определить, какое впечатление на него произвел рассказ.

«Это все, что я хотел вам сообщить, товарищ прокурор. Видит бог, мною не двигали ни зависть, ни злоба. Моя беда в том, что я не выношу несправедливости, а бороться с ней не хватает духу. Я старый провинциальный учитель. Для борьбы у меня нет ни сил, ни опыта. Остальное вы знаете. Еще раз хочу вам напомнить, что в свидетели я вам не сгожусь. И вообще я ничего вам не говорил».

Учитель ушел.

Прокурор, не в силах оторвать глаз от течения, даже не повернулся к нему. Мост с головокружительной скоростью несся против течения реки.

Длинный кабинет, облицованный дубовыми панелями.

За столом, нагнув голову, сидит первый секретарь райкома и что-то читает.

Прокурор вошел в кабинет, прикрыл дверь и остановился. Первый секретарь, не поднимая головы, перевернул листок бумаги и продолжал читать.

Не дожидаясь приглашения, прокурор твердым шагом направился к столу.

«Здравствуйте!».

Первый секретарь взглянул на него так, словно не заметил его появления. Горящий взгляд молодого прокурора заставил его вздрогнуть. Он встал и протянул ему руку.

«Садитесь, пожалуйста».

Первый снова сел, взял в руки давешний листок и углубился в чтение.

«Извините, что до сих пор я не смог уделить вам внимания. С аппаратом вы, надеюсь, уже познакомились?» — не отрываясь от бумаги, спросил секретарь.

«Да!».

Молчание.

Прокурор вглядывается в лицо первого секретаря. Он никак
вызова целую неделю. Причина этого была вполне очевидна.
Ему давали почувствовать, что дело, извлеченное им из ^{из Тбили} архива, никого не встревожило. Обычный психологический ход.

«Вы можете в ближайшие дни доложить на бюро о ваших
планах и задачах?».

Первый секретарь отложил бумагу в сторону и посмотрел
на Резо.

«Могу».

«Если вам требуется время, скажите, торопить я вас не
стану».

«Я хоть сегодня могу отчитаться перед бюро».

«Вот и отлично. Я надеюсь, вы поладите с нашим активом.
Работать здесь довольно трудно, но если вы найдете общий
язык с людьми, и работать станет полегче. Повторяю, главное,
найти общий язык с людьми, правильно оценивать ситуации и
идти в ногу с жизнью... Вы еще молоды и, наверное, не очень
хорошо знаете жизнь...».

«Мне кажется, или он действительно говорит с намеком?»

«Да, очень важно идти в ногу с жизнью», — многозначи-
тельно подчеркнул первый секретарь и задумался.

Прокурор молчит. Ему нечего сказать.

«В районе дел непочтатый край, а вы, говорят, стали во-
рошить старые. Я вам советую бросить это занятие и сосре-
доточиться на новых задачах. Вы несете ответственность за дела
с того самого дня, как приступили к работе!».

«Не понимаю, что вы хотите сказать?» — простодушно
удивился прокурор.

«Вы прекрасно понимаете, что я вам хотел сказать. Будет
гораздо лучше, если вы подготовите отчет и наметите конкрет-
ный план вашей дальнейшей деятельности».

«Еще раз повторяю, я не понимаю, о чем вы говорите. Я
ознакомился с рядом дел лишь для того, чтобы лучше изучить
район. Вы это имеете в виду, не так ли?».

Первый секретарь испытующе посмотрел на прокурора. В
глазах его затаился гнев, и они постепенно налились кровью.
Он едва сдерживался, чтобы не заорать на новонспеченного
блюстителя закона, чего ты, мол, придуриваешься. Ведь ты
прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Но вместо гневного
окрика он спокойно продолжил:

«Может, у вас есть какие-нибудь претензии? Я прошу вас
открыто сказать о них на заседании бюро. Не стесняйтесь кри-
тики. Все ваши предложения будут выслушаны со вниманием
и вам будет оказана требуемая помощь. Хочу надеяться, что мы
найдем общий язык. Не стану вас больше задерживать. Всего
вам доброго!».

«До свидания!».

Тбилиси.

Квартира Анзора Джавахадзе.

Статичная сцена.

В кресле застыл прокурор.

На краешке стула напротив — вдова Анзора Джавахадзе.
Она напряженно смотрит на молодого прокурора.



Тягучее неловкое молчание.
Резо мнет в руках сигареты.
«Вы разрешите закурить?».

«Пожалуйста».

Женщина встает и ставит перед гостем пепельницу.

«Спасибо».

И вновь неловкое молчание.

«Что вам нужно, зачем вы пришли?» — немой вопрос застыл в глазах женщины.

«Прошу прощения за то, что я вынужден напомнить вам печальные дни, но другого выхода у меня нет. Без вашей помощи мне не разубить узел».

«Я вас слушаю».

«Удовлетворены ли вы следствием по делу убийства вашего мужа?».

«Убийства или гибели?».

«Что ж, допустим, гибели».

«Разрешите спросить, кто вспомнил моего несчастного супруга через три с половиной года? Я не желаю новой шумихи и пересудов, я не желаю заново будоражить моего ребенка. Прошу вас, оставьте меня в покое».

«Простите за боль, которую я невольно причинил вам, но неужели у вас никогда не возникало сомнения, что вашего мужа могли убить?».

«У моего мужа было много друзей. Они никому не простили бы его убийства».

«Мертвый друг никому не нужен. Извините, что я говорю так резко. Если вы считаете друзьями своего покойного мужа людей, связанных с ним общей профессией или работой, то могу вас заверить, они без промедления забыли бы вашего мужа и не стали бы обострять ситуации ради выбывшего из игры человека. Более того, они всячески постарались бы замять дело».

«Вы пришли сюда, чтобы убедить меня в том, что мир населен убийцами и негодьями?».

«Я пришел к вам для того, чтобы напасть на след убийцы вашего мужа».

«Моего мужа никто не убивал. Его случайно сбила машина. К сожалению, виновного не обнаружили».

«И не обнаружат. Потому что вашего мужа машина не сбивала».

«Я не желаю ни о чем вспоминать. Умоляю вас, оставьте меня в покое».

Протяжный звонок.

Неловкое молчание.

«Деточка, иди открой дверь!» — крикнула женщина в соседнюю комнату.

Звонок повторился.

Женщина встает и идет открывать дверь. Видно, ребенка нет дома.

В комнату входит представительный мужчина лет сорока.

«Что случилось, что тебя встревожило?» — обращается он к вдове и холодно кивает незнакомцу в кресле.

115.239

2. «Литературная Грузия» МДА.
666. 1383200030

«Поговорите, пожалуйста, с моим братом. Прошу прощения, но мне необходимо выйти. И впредь я не желаю говорить на эту тему!».

«Я — прокурор, и меня интересуют некоторые детали убийства вашего зятя».

«Моего зятя никто не убивал. Его случайно сбила машина».

«К сожалению, вашего зятя машина не сбивала. Существует целый ряд обстоятельств, вызывающих подозрение в убийстве».

«В процессе следствия все выяснилось, и у меня не осталось никаких сомнений. Ничего подозрительного я не заметил. Думаю, вы понапрасну тратите время».

«У меня есть основания для подозрений. Просматривая дело, я ничего особенного в нем не обнаружил... Однако впоследствии появился целый ряд таких фактов...»

«Я сотни раз просмотрел дело о гибели моего зятя. Я абсолютно убежден, что Анзора Джавахадзе никто не убивал. Обычный несчастный случай».

«У меня создается впечатление, что вы не заинтересованы в установлении истины».

«Как бы не так! Мы просто устали от нервозности и горя. Мы не желаем все начинать сначала. Тем более, что в добросовестности следствия у нас нет ни капельки сомнения».

«Всего вам доброго. Прошу простить за беспокойство».

«Всего доброго».

«Не могу вам обещать, что я прекращу это дело».

«Как вам угодно».

— Вот теперь-то мы наверняка приехали! — говорит Эльдар.

После первого уверения Эльдара, что мы уже приехали, прошло добрых двадцать минут... Показались черные силуэты строений.

— Кто знает, где живет наш больной. А вокруг ни души, попробуй выяснить.

Мы проехали еще немного!

— Давай посигналь, может, и отзовется кто! — сказал Эльдар шоферу.

Тревожный звук sireны распорол тишину и эхом прокатился в окрестных горах.

Sireна никого не всполошила. Лишь кое-где забрехали собаки. Вот, собственно, и все...

Нигде ни огонька.. Не поймешь, то ли спят, то ли село обезлюдело.

— Мне кажется, в том доме светится окно! — говорю я.

— А ну давай к нему поближе! — распорядился Эльдар.

Мгновение спустя машина поравнялась с двором, в глубине которого брезжило окно.

В ту же минуту огромный пес с лаем бросился к калитке.

— Эй, хозяин! — крикнул Эльдар.

Пес вконец озверел.

— Хозяин! — повторил Эльдар и вышел из машины. Гром-
мадный пес, просунув морду в щель, яростно рычал. Но Эль-
дар, как ни в чем не бывало, направился к калитке. Видно, он
пообвык в общении с деревенскими псами.

— Заткнись, несчастный! — бросил Эльдар псу и, встав
у самого забора, заорал благим матом:

— Хозяин, эй!

— Кто там? — послышалось из оды. Потом дверь отво-
рилась, и мужчина в нижнем белье с фонариком в руке на-
правился к калитке.

Заслышав голос хозяина, пес залился в лае.

— Замолчи ты, волчья сыть, закрой пасть! — рассердил-
ся хозяин и, подойдя вплотную к калитке, громко повторил: —
Кто там?

— Не подскажите, где тут Серго Гонгадзе живет? — Луч
фонарика скользнул по лицу Эльдара и задержался на машине
с красным крестом.

— Здравствуйте, — уважительно поздоровался хозяин.

— Здравствуйте!

— Что там у них-стряслось? Заболел кто?

— Я и сам толком не знаю.

— А-а. Так вот, поедете прямо, никуда не сворачивая. По-
том покажется разбитый молнией ясень. Там вы возьмете вле-
во и прямым окошком окажетесь у дома Серго Гонгадзе.

— Дай вам бог здоровья!

Затарахтел мотор. Пес вдоль всего забора неся вровень
с машиной. Потом, словно приняв эстафету, за нами понеслась
соседская собака, затем залилась третья...

Минут через десять показался силуэт старого покорен-
ного ясеня. Машина тяжело перевалилась и взяла влево.

Вскоре на фоне серого неба прорисовались раскидистые
ветви огромного орехового дерева. Свет машинных фар выхва-
тил белые камни ограды. У калитки стояло двое юношей. При-
крыв глаза рукой, они делали нам знаки, приглашая подъехать
поближе.

Шофер ловко осадил машину прямо у калитки.

— Пожалуйте сюда, дорогой, въезжайте во двор.

Один из юношей с грохотом отворил ворота.

Мне показалось, что юноши были навеселе.

Не дожидаясь, пока машина въедет во двор, мы с Эльда-
ром поспешно вышли из машины и пешком направились к дому.

— Где вы, доктор, больной наш на ладан дышит! —
встретил нас низенький толстячок с хриплым голосом.

— Пожалуйте, уважаемый, пожалуйте! — обратился он
ко мне.

Из окна огромного двухэтажного дома просачивался сла-
бый свет.

— Пожалуйте на второй этаж, будьте любезны!

Мы медленно поднимаемся по широкой, крутой лестнице.
Внезапно дом разом осветился и послышались звуки
«Мравалжамнер».

— Да здравствует наш доктор! — раздались нестройные
крики.

Стол похож на поле битвы. Больше половины гостей ^{спит} одни положили голову прямо на стол, а другие, откинувшись на спинку стула и вытаращив бессмысленные глаза, ^{уже громко} храпят.

У тамады рубашка расстегнута до самого пупа, на волосатой груди болтается галстук, мочуе запястье обхватил тяжелый металлический браслет. На ладони он держит миску.

— Приветствую моего дорогого Эльдара! За хранителя здоровья нашего маленького района! Эльдар, поклянись матерью, ты когда-нибудь имел столько больных сразу? Ты только погляди, на кого они похожи.

Тамада поставил миску на стол. Потом нагнулся к мужчине, храпевшему рядом с ним. Ухватив лишь одной рукой за волосы, а второй за подбородок, он приподнял его голову.

— Ты видишь, в каком состоянии директор нашей школы? Видишь?

Он неожиданно отпустил голову директора, и та, словно отрубленная, хлопнулась об стол.

Я посмотрел на Эльдара. Он даже бровью не повел. И в глазах его не было ожидаемой обиды или же гнева. Видно, всю дурную комедию с вызовом он счел за должное. Может, вначале его и оскорбляла такая бесцеремонная наглость, да со временем он привык и смирился.

— Прошу к столу. Прошу прощения у нашего гостя за такую встречу. А пока, чтобы зря не простаивала «скорая», распорядись, пусть твой шофер развезет по домам наших «больных».

— С большим удовольствием. Только вы сначала выволките их отсюда и сложите в машину.

— Никаких выволакиваний. Володю Немсадзе мы вынесем на носилках. Пусть знает наших, чтобы впредь было неповадно со мной тягаться. Ты только подумай, перепить меня вздумал, а, каково? Ты, надеюсь, прихватил с собой носилки?

— Все в полном порядке. Шофер прекрасно знает, где что у него лежит.

— Так прошу к столу. Познакомь нас с твоим другом, что ли. Он, по всему видать, твой коллега.

— Познакомьтесь, пожалуйста, Нодар Геловани, физик.

— Да здравствует наука! Мариам, накрой новый стол на веранде!

Я понял, что Эльдар намеренно не представил меня, как брата районного прокурора.

— Что это вы набились в залу? Душегубка и только! — осведомился Эльдар, закатав рукава рубашки.

— Да все как один заладили, что дождь будет. Ты только погляди, какое чистое небо!

Маленький стол мигом накрыли на веранде.

— Форели, форели, да побольше! — распорядился тамада. — И большой рог вновь прибывшим!

Я посмотрел на Эльдара. Он ловко расправлялся со второй рыбиной.

Пузатый мужчина с глазами, налитыми кровью, едва во рочал языком, но рог наполнил мастерски. Тамада осторожно принял у него тяжелый рог и протянул мне.

— Прошу прощения, но выпить рог я не могу!

— Это еще почему, а, молодой человек?

Сколько скрытой насмешки таилось в этом «молодой человек».

Я принял вызов. Я продолжаю сидеть и даже не протягиваю руку, чтобы взять у него рог. Я знаю, чем дольше он стоит с рогом в вытянутой руке, тем быстрее обломаются крылья у его надменной гордости.

— Прошу принять!

В его голосе зазвенел металл. Но надменности как не бывало. Рука его основательно затекла от тяжести рога, а вся бравада бесследно улетучилась. Теперь он смотрит на меня с некоторой даже робостью.

— Я что-то не слышал, чтобы за нашим столом начинали пить рогом. Повремените, дайте пропустить пару-другую стаканов.

Он понял, что я прав, но никак не мог сообразить, что предпринять с рогом. Вдруг взгляд его остановился на Эльдаре.

— Эльдар, возьми рог. Только смотри у меня. Чтобы без фокусов... — грозно завершил он.

Эльдар поднялся без лишних слов, вытер губы салфеткой и отобрал у него рог.

— За все тосты, произнесенные вами! — коротко отрезал он.

И с расстановкой приложился к рогу, словно ему доставляет огромное удовольствие пить из этой литровой посуды. Кровь медленно прилила к его щекам, жилы на висках вздулись.

Все молча уставились на него. Кадык энергично ходил ходуном по его горлу. Последние капли упали на подбородок и пролились на рубашку.

Он выцедил все вино до дна и, опрокинув рог, обвел глазами присутствующих.

— Молодец! — гаркнул тамада.

Главный врач района повернулся ко мне.

— Постарайся выпить. Чем раньше ты их догонишь, тем лучше. Нас все равно не отпустят отсюда до самого утра.

Я отрицательно покачал головой.

С улицы донесся рокот мотора. Первый рейс с хохотом и криками отправился в путь.

— «Я прошу твоей любви»... — затянул Эльдар.

Тамада тут же подхватил песню.

Голос Эльдара был так же несовместим с неприятным ревом тамады, как бензин с водой.

Я уже жалел, что не выпил рог. По всему видать, до утра нам не уйти. Как-то неловко перед другом. У него свои отношения с людьми, с деревней. «Поделом тебе!» — браню я себя и с нетерпением жду, когда мне еще раз предложат рог.

— Гитару! — вскричал Эльдар.

— Сию минуту, дорогой!

А потом длинные тосты. Один, два, три...

Потом рог...

В полусушенном роге неприятно плещется вино. Я пью медленно, и вино бросается мне в голову. Я чувствую, как сверлят меня три пары глаз.

А потом гитара.

Пока я расправляюсь с рогом, Эльдару приносят гитару. Мне до смерти хочется перевести дух, но я воочию вижу насмешливую улыбку на губах тамады (его, кажется, зовут Серго). Нет, передохнуть невозможно. Выходит, я пошел на поводу у них. Выходит, я пьян. Впрочем, неправда, что я считаюсь с ними, я просто оберегаю престиж моего друга. Эльдар настраивает гитару и уже берет несколько аккордов. Я, наверное, зверски пьян, и гитара кажется мне настроенной идеально.

— Вот так уже получше! — с улыбкой берет у меня рог тамада.

Вино расширило сосуды. Кровь весело забурлила в жилах. Мне захотелось пить еще и еще.

Я подпеваю Эльдару. Песня вроде бы сладилась.

Поднимается шофер с носилками.

Бесчувственного директора школы кладут на носилки и торжественно выносят.

Гомерический хохот с истерическими воплями.

Тамада шествует в головах носилок.

Директора школы с грехом пополам сносят во двор и прямо на носилках всовывают в машину.

— Только, ради бога, в дом его не внесите, не то люди умрут со страху! — доносится до нас взволнованный женский голос.

Второй рог. Это я сам его потребовал.

— Наполняйте! — вызывающе говорю я.

Я чувствую, как сверкают у меня глаза.

Второй идет полечче, и я перехожу алаверды к тамаде. Я даже не помню, какой я сказал тост. Еще хорошо, что тамада не спрашивает, а хоть бы и спросил, мне все равно нипочем не вспомнить.

— Да здравствуют позабытые могилы! — провозглашает тамада.

Неужели это я сказал такую глупость?

Как я только мог сморозить такое?

Но ничего не поделаешь, наверное, сказал.

— Может, ты отдохнешь, сынок? — слышу я мягкий женский голос.

Я с трудом открываю глаза. Не могу понять, где я и что со мной. Потом постепенно прихожу в себя и все вспоминаю. Эльдар спит, положив голову меж двух тарелок. Тамада храпит тут же на полу. Его прикрыли одеялом, а под голову подложили подушку.

Двор прорезали два луча света. Машина. Я признал в ней нашу «скорую». Кто знает, сколько рейсов совершила она, пока мы спали. Машина развернулась. Два луча метнулись вниз и высветили маленькую оду с красной черепичной крышей, скрытую деревьями.

Неожиданно свет погас и темнота вновь поглотила красную черепицу оды.

— Может, чаю выпьете? — предложил тот же голос.

Кто-то трясет меня.

— Нодар, мы уже приехали!

Я не могу разлепить век.

— Спасите, доктор! — слышу я отчаянный женский



— лос. — Что привело вас в такую рань? — это уже голос Эль-
дара.

— Какая там рань, я вас уже часа четыре как дожида-
юсь!

— Так что вам от меня нужно?

Я с трудом открываю тяжеленные веки и сразу смотрю на
часы. Седьмой час утра.

Мы стоим возле больницы.

Я едва вылез из машины. Ноги подгибаются, а голова гу-
дит.

Низенькая, полная женщина лет пятидесяти слезно молит
Эльдара пойти с ней к больному.

— Может, вы все-таки скажете, что с ним такое?

— Вчера он пришел выпивши, сердце у него страшно бо-
лит!

— Выпивши или пьяный?

— Пьяный, доктор!

— Сам пришел или привели?

— Привели.

— Ну и что, на что же он жалуется?

— Ворочается, стонет, бормочет что-то. Время от време-
ни кричит и испуганно таращит глаза.

— Идите, скажите, чтобы он быстрее в столовку шел.

— Доктор!

— Никаких «доктор». Идите и делайте, что вам сказано.
Вместе опохмелимся.

Эльдар открыл дверцу машины.

— Садись. В больнице полный порядок. Поедем, раздавим
по бутылке шампанского.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Направляясь ко Дворцу спорта, я попал в пробку на
площади Героев. Расстояние между машинами, зажавшими в
тиски моего «Жигуленка», было никак не больше несколь-
ких сантиметров. Одно неловкое движение, толчок — и
мгновенно врежешься в багажник впереди идущей машины,
если до того никто не умудрится врезаться в твой собственный.

Я задыхаюсь. Все стекла до отказа опущены, но в са-
лоне машины нестерпимая духота. Страшная жарница, солнце
палит нещадно, в который раз утверждая меня в материаль-
ности мира. Я чувствую, как расплавленный асфальт липнет
к покрышкам машины, а потная рубашка к телу. Я сам себе
противен. У меня возникает страшное желание распахнуть
дверцу, выскочить вон из машины и бежать куда глаза гля-
дят. Вот бы добраться до какой-нибудь зеленой лужайки! Но
я прекрасно знаю, что желанию моему не дано осуществить-

ся. Я так плотно зажат машинами, что не до побега. А впереди и сзади жалко громоздятся туши застрявших троллейбусов и автобусов.

«Что случилось?» — хочу выяснить я, но глаза моих соседей по пробке не располагают к контакту.

Справа от меня за рулем «Жигулей» сидит мужчина лет пятидесяти пяти в очках, плотно притороченный к сидению защитным ремнем. Ничего не скажешь, своевременная мера.

— Что случилось? — громко кричу я.

Он даже бровью не повел, не говоря уже об ответе.

«Может, он не расслышал?» — подумал я.

Через некоторое время я повторяю свой вопрос, на сей раз погромче.

Очкарик невозмутимо повернул голову в мою сторону и пожал плечами.

Выхлопные газы, поднимающиеся в небо, тонкой стеной воздвигались между машинами. Такое впечатление, что машины гарят в дымном мареве.

Нервы на взводе. Я чувствую, как до предела напрягаются во мне каждая жилочка, норовя вот-вот лопнуть.

В зеркале я вижу измученное лицо водителя задней машины.

Время от времени раздается милицейский свисток.

Впереди едва заметное движение.

А вот по туго натянутым проводам поползли троллейбусные бигели и тут же снова застыли.

Постепенно приближается протяжный вой сирены. Я платком стираю со лба обильный пот. Рубашка плотно прилипла к спине.

Кто-то дал длинный сигнал. К нему присоединился другой, потом третий. Через какое-то мгновение вся площадь потонула в реве сотен автомобильных клаконов.

Вновь взревела сирена, на этот раз совсем близко, в каких-нибудь двадцати метрах. Автомобильные гудки постепенно ослабели, а потом и вовсе прекратились. Передний троллейбус сдвинулся с места.

Милицейские свистки заметно участились. А вот и сами постовые. Троллейбус упрямо ползет вперед. Неожиданно тронулась колонна слева от меня. Тронулась едва заметно, ползком, скорость не больше двух-трех километров в час. Я слышу надсадный рев моторов. Двигатели, измученные первой скоростью, жалко хрипят и испускают сизый дым. От выхлопных газов мутит. Я лихорадочно поднимаю стекла, но в салоне такое пекло, что я снова опускаю их. Я высовываю руку наружу и чувствую, как она погружается в раскаленную сжиженную массу воздуха.

Колонна слева неуклонно ползет вперед. Остальные машины по-прежнему не движутся с места.

В зеркальце я заметил похоронную процессию с милицейской машиной впереди.

Я вздрагиваю. И без того тяжелое сердце болезненно сжалось.

Может, и нашей колонне повезет в конце концов! Бигели троллейбуса виднеются уже далеко впереди, но, увы, они вновь окаменели. И автобусы стоят без движения.

Сирена завывала под самым ухом. Колонна слева опять застыла на месте.

Я смотрю в зеркальце. Грузовик с опущенными бортами задрапирован в черный бархат. У гроба стоят ребята. Самого гроба не видно. Неприятное предчувствие захлестнуло меня: а вдруг покойник — ребенок.

В последние годы лишь смерть детей тяжело действует на меня.

Колонна слева вновь пришла в движение. Милицейская машина ушла далеко вперед. Катафалка в зеркальце уже не видно. Вот-вот он поравняется со мной. Я упорно смотрю в противоположную сторону, авось проскочит мимо. Не испытываю ни малейшего желания увидеть покойника.

Неожиданно на меня упала тень. Я понял, что катафалк прошел рядом. Вскоре солнце вновь обрушилось на машину. Некоторое время я продолжаю смотреть вправо, ожидая, что катафалк окончательно минует меня, но, не удержавшись, я все же посмотрел влево. Катафалк отъехал на каких-нибудь четыре метра, и колонна дружно затормозила. Теперь рядом со мной оказалась машина с близкими покойника. На заднем сидении «Волги» сидят три женщины, а на переднем водитель и видный мужчина средних лет. Я невольно перевожу взгляд на катафалк. Над гробом возвышаются четверо разомлевших от жары юношей. Они поминутно вытирают платками лицо и шею и с нетерпением ждут, когда колонна двинется, но все без толку. И встречный поток машин застрял без всякой надежды на продвижение.

Мне хорошо видны седые волосы покойника. Слава богу, что предчувствие мое не сбылось. Я вновь поворачиваю голову в сторону близких покойного. Неизвестно, что больше угнетает их — горе или жара.

И опять я гляжу вправо. Очкарик немного продвинулся вперед. Теперь рядом со мной оказалась «Волга», по всему виду, государственная. Невыразительное лицо водителя изумило меня. На нем ни следа переживаний. А может, он просто обалдел от нервозности? Или попросту свыкся с подобными ситуациями, ставшими для него нормой жизни?

С новой силой взывала сирена. Трели милицейских свистков не утихают.

Колонна слева задвигалась.

Жалко мотается в гробу голова покойника.

И тут же банальнейшая мысль — основа основ кладбищенской философии — такова наша жизнь! А колонна медленно, но неуклонно ползет вперед. На этот раз со мной поравнялся автобус, полный народу. В открытом окне виднеются распаренные от жары, потные лица.

Кто-то кивает мне.

Не могу разобрать, кому предназначено приветствие, но на всякий случай киваю в ответ. Автобус ушел вперед, и мое приветствие повисает в воздухе.

Кто бы это мог быть?

А может, он поздоровался не со мной?

Троллейбус прибавил ходу. Из-под бигелей посыпались голубые искры.

В конце концов тронулась и наша колонна. Я то догоняю то обгоняю автобус. Поравнявшись с ним, я стараюсь разглядеть лицо знакомого, но никто не смотрит в мою сторону.

«Нет, он наверняка здоровался не со мной», — думаю я. Движение вновь застопорилось. Автобус обогнал меня метров на десять.

Через некоторое время я вновь поравнялся с автобусом. Теперь я отчетливо вижу лицо мужчины, кивнувшего мне. Он не смотрит в мою сторону, хотя прекрасно чувствует мой испытующий взгляд. Об улыбке и говорить не приходится, в такой ситуации это исключено.

«Он определенно спутал меня с кем-то, и теперь, удостоверившись в ошибке, старается не смотреть в мою сторону».

Эта мысль показалась мне наиболее правдоподобной, и я начисто выкинул из головы и приветствие незнакомца, да и сам факт его существования.

Уже движется и третья колонна. Теперь я нахожусь возле здания телестудии.

Две стальные реки текут в противоположные стороны. Асфальт пышет жаром, выхлопные газы поднимаются вверх. Горячая пелена воздуха колыхается, словно занавес. Резкость пропадает. Контуры машин, автобусов, троллейбусов, деревьев и электрических столбов размываются и ломаются, как телевизионные изображения на экране при разряде молнии.

И вновь остановка.

Я уже потерял им счет.

Смотрю вправо. Опять вплотную ко мне прижалась машина с очкариком. Но на сей раз он показался мне гораздо моложе — не больше сорока семи — сорока восьми лет. В моем сознании пятидесятилетний рубеж — водораздел между молодостью и старостью. Очкарик не похож на человека, переступившего этот критический возраст.

Очкарик снова оторвался от меня. И вновь со мной поравнялась государственная «Волга» с бесстрастнолицым шофером. Вот и сейчас я не вижу ни тени тревоги на его лице. Видно, его донимает жара и ничего больше. Нервы его ослаблены, а мозг отключен. Разве что одна заваливающая мыслишка проползет лениво по клеточкам мозга и тут же заглухнет, как мотор в пробке.

Наша колонна двинулась и как будто чуть побыстрее. Можно ехать на второй скорости, и, слава богу, хоть не слышно напряженного рокота моторов, задыхающихся на малых оборотах.

Я еще раз нагнал катафалк, еще раз болезненно сжалось сердце при виде седой головы, жалко мотающейся в гробу. Даю газ, и все уже позади. Вытираю рукавом струйки пота на лбу.

А вот, наконец, и площадь перед Дворцом спорта.

Здесь движение делится на два потока. На третьей скорости я сворачиваю на Пекинскую улицу. Теперь можно расслабиться. Воздух в салоне машины тоже пришел к моему мнению. Все ничего, но рубашка, прилипшая к телу, не дает мне покою. Я слегка отстраняюсь от сиденья, чтобы разгоряченное тело продуло слабым ветерком. Я выехал на улицу Павлова и даже не заметил, как оказался в ее конце, там, где она вливается в проспект Важа Пшавела.

Я пришел в себя лишь у памятника Важа Пшавела и стал с удивлением себя спрашивать, с какой это стати я вдруг свернул вправо.

«Куда я еду?»

Только сейчас я осознал, что направляюсь к дому своего сводного брата.

«Каким образом? Почему? Зачем?» — посыпались на меня вопросы.

Я ведь собирался в Дигоми к Дато.

И вдруг понял, что совершенно не был расположен к разговору с Дато. Дело, за которым я собрался к нему, можно прекрасно сделать и завтра.

Я тщетно стараюсь вспомнить момент, когда я отбросил намерение поехать к Дато.

Видно, тело гораздо раньше ощущает решение, которое собирается принять разум лишь мгновение спустя. В человеке, видимо, существует сложный механизм, который фактически управляет личностью. В последнее время я явственно ощущаю, как активизировался во мне этот внутренний механизм, частенько навязывающий мне свои желания. Может, и теперь он вынудил меня ехать к брату? Может, клеточка мозга, где зрела эта мысль, постепенно накопила заряд, усилилась и выдала в виде импульса желание, по капельке просачивающееся в нее? Может, сила этого импульса и возобладавала над всеми иными мыслями, хаотически блуждающими в мозгу?

Не знаю.

Но факт остается фактом: я еду в конец проспекта Важа Пшавела, где в корпусе, высящемся на горном склоне, в своей однокомнатной квартирке на первом этаже живет Гоги.

Я здесь бывал и раньше, раз или два после памятной встречи в отцовском доме.

Еще издали я вижу торчащий в окне корпус кондиционера.

«А дома ли он?» — мелькнула мысль. Машину я подогнал под дерево, стоящее перед окном Гоги. Я осторожно нажимаю на пуговку звонка. Сердце стучит. Я явно волнуюсь и уже жалею, что незванно нагрянул в гости. Ведь Гоги вполне определенно выразил свое отношение к нам и фактически наотрез отказался даже от простого знакомства.

«Дома!» — заключил я еще до того, как открылась дверь. Из комнаты доносился приглушенный звук музыки.

Дверь мне открыла легко одетая красивая девушка лет девятнадцати. На ней длинное платье с глубоким вырезом на груди. Из длинного, чуть ли не до пояса, разреза платья выглядывает загорелое бедро.

— Ого! — подумал я. — Эта девушка наверняка из тех, имени которых Гоги толком даже не знает. Возбужденное лицо девушки раскраснелось, а глаза ^{4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100} ~~глаза~~ ^{стран-} ~~но~~ блестят.

— Что вам угодно?

В ее голосе послышался холодок.

— Гоги дома?

— Да!

Не ожидая приглашения, я вхожу в холл, если так можно назвать крохотный узкий коридорчик с низким потолком.

Да, чуть не забыл сказать. Не успела дверь открыться, как на меня сразу же обрушились музыка и прохлада. Равномерный ритм тамтамов с грохотом низвергается из стереодинамиков.

Дверь, ведущая в комнату, полуоткрыта. Я долго топчусь в прихожей, ожидая выхода Гоги, но он запаздывает. Девушка, закрыв входную дверь, стоит за моей спиной. Я чувствую, с каким презрением смотрит она на меня. Видно, не может простить, что я бесцеремонно нарушил ее покой.

Наконец мне надоедает ждать Гоги, и я, распахнув дверь, вхожу в комнату. Первое, что бросилось мне в глаза и заставило вздрогнуть, было тело Гоги, распластанное на полу, покрытом красным синтетическим ковром. По обе стороны от него надрывались два мощных динамика. Гогина голова приходилась как раз на середину между двумя грохочущими коробками.

В углу стоит невысокий столик, а на нем полбутылки коньяку, стаканы и пепельница. Еще одна пепельница, зажигалка и пачка сигарет валяются на полу рядом с Гоги.

Руки он подложил под голову и, закрыв глаза, слушает музыку. А впрочем, может, он спит?

Девушка опустила в кресло, приткнувшееся возле столика. Она вытащила из пачки сигарету и закурила. В комнате очень прохладно, я бы сказал, даже холодно. Кондиционер работает на полную мощность, кругами возвращая в комнату сигаретный дым и еще больше отравляя воздух.

Стоять так посреди комнаты — бессмысленно. Говорить тоже не хочется. Неужели он и вправду не расслышал, как я вошел в комнату? Одно из двух: или он спит или целиком поглощен ревом музыки. Трудно поверить, что звонок услышала только девушка и открыла дверь без разрешения Гоги.

Сказать по правде, я не слишком утруждаю себя разрешением возникших проблем и невозмутимо сажусь на низкий стул по другую сторону стола.

Единственное, о чем я жалею — какая нелегкая принесла меня сюда? Ведь и я прекрасно чувствую всю бессмысленность нашей призрачной братской связи.

И все-таки, что меня привело сюда?

Может, зов крови и чувство долга, вьвшееся в гены?

А может, холодный рассудочный анализ и моральная обязанность?

Или, наконец, инстинкт?

Ни то, ни другое, ни третье.

Так что же привело меня сюда? Неужели и впрямь во мне сидит некое другое существо, навязывающее мне свою волю?..

Просто встать и уйти — глупо. Мой поступок может быть расценен как дурацкая обидчивость.

Я терпеливо жду, когда созреет финал столь опрометчивого визита.

Но, с другой стороны, я все же доволен своим приходом; он раз и навсегда прояснит наши отношения.

— Налей ему коньяку! — внезапно слышу я Гогино голос. Он произнес эту фразу, не открывая глаз.

Девушка встала и налила мне коньяк. Потом опять усеелась в кресло.

— Спасибо! — говорю я, пытаюсь отвести взгляд от ее голой груди.

Интересно, какая играет группа? «Роллингстоны»? «Чикаго»? «Зеппелины»?

Музыка вроде бы знакома, но никак не могу вспомнить, кто играет. Одно ясно, это наверняка не «роллинги».

Теперь звук динамиков не кажется мне таким уж громким. Видно, радиотехника — Гогино хобби. Впрочем, не хобби, а профессия. Комната полна транзисторов, магнитофонов и телевизоров всех типов и марок. С непривычки может показаться, что ты очутился на выставке радиотоваров иностранных фирм.

Неожиданно музыка замолкла. Но Гоги по-прежнему лежит, не меняя позы. Вдруг его правая рука осторожно поползла назад, нажала какую-то клавишу, и автоматически перевернулась пластинка.

Пауза.

Я достаю из кармана свои сигареты и ищу глазами спички.

— Чему приписать ваш визит? — присел Гоги. Догадавшись, что я ищу, он лениво протянул мне зажигалку.

«Наверняка «Чикаго!» — наконец осенило меня.

— Ах, да, я вас не представил друг другу. Эту девушку зовут... э-э-э...

Гоги помахал рукой в воздухе, словно просил напомнить имя.

— Марина! — с отвращением вымолвила девушка.

— Да, да, Марина, Марина Долаберидзе. — Видно, фамилия девушки пришла ему на ум вот в эту секунду.

Меня он не назвал, наверное, просто не счел нужным.

Я с улыбкой киваю девушке. Она сидит в кресле, закинув ногу на ногу. В разрезе платья почти целиком видно ее бедро, красиво суживающееся у колена.

Я не хочу, чтобы она заметила, как я рассматриваю ее голое загорелое бедро, и быстро перевожу взгляд на Гоги.

Гоги прищелкнул пальцами, давая Марине знак, чтобы она налила коньяк.

Гоги тоже показался мне возбужденным. Глаза его непривычно блестя. Я сразу вспомнил покрасневшее лицо девушки и неестественный блеск ее глаз, когда она открыла мне дверь.

Марина подала коньяк Гоги.



Я невольно опять загляделся на девушку.

— Что, нравится?

Гоги, видно, перехватил мой взгляд.

— С чего ты взял? — обиделся я.

— В моем вопросе нет ни подтекста, ни задней мысли. Я просто спросил у тебя, нравится ли она тебе? Если да, можешь назначить ей свидание. Гарантирую, она не заставит тебя ждать понапрасну, обязательно придет.

— Гоги!

— Не волнуйся. С этими девицами у меня чисто деловые отношения. Я, как правило, без проволочек оплачиваю стоимость страсти и, представь, не остаюсь в долгу. Я не растрачиваю своих чувств и любви. И не растрачиваю по весьма простой причине: видно, господь не наделил меня способностью любить.

И вновь заработал в сознании железнодорожный справочный автомат. Я невольно нажал пальцем кнопку. Воспоминания с быстротой молнии проскакивают в мозгу, как пластинки со справками, набегаая друг на друга и исчезая вновь. В конце концов из мрака вынырнула требуемая пластинка.

— В Коджори не подбросишь? — слышу я грубый голос.

И вновь блеснули на меня два злых глаза с заднего сидения.

Я отпускаю кнопку, остаю вливаю кадр и пристально рассматриваю его. Посередине сидит голубоглазый паренек. Даже теперь, спустя годы, я вижу страх, затаившийся в его глазах.

Вне всякого сомнения: из глубины кадра на меня глядит Гоги.

— Почему вы не пьете? — обращается ко мне Гоги на «вы» и это происходит не из вежливости по инерции, а вполне сознательно. Этой подчеркнуто-вежливой формой он еще раз напомнил мне, что друг другу мы чужие.

— Не хочу, я за рулем.

— Воля ваша. — Поставил он на ковер пустой стакан.

Пауза.

Потом он опять растянулся на ковре, правда, на этот раз не закрывая глаз.

— Интересно, что вас привело ко мне?

— Это произошло совершенно случайно. Захотелось вдруг, вот я и заехал! — спокойно ответил я.

— Наши отношения не имеют никакого смысла.

— Я хотел воочию в этом убедиться.

— Ну и что же? Убедились?

Молчание.

— Вы и сами прекрасно видите, что из нашей игры в братство не выйдет ничего путного. Я надежно укрыт в своем микромире (Гоги обвел рукой комнату, давая понять, что это и есть его микромир). Я уже создал свой собственный микроклимат. Видите, как я ловко оперирую терминологией современной журналистики? Разве плохо звучит: «глобальная постановка вопроса» или же «мировая модель»?... Так вот, я уже выработал свою духовную модель, и мне вовсе не до экспериментов...

Молчание.

Я чувствую, что момент для ухода еще не наступил.

Ничего не было сказано такого, к чему можно привязать слова прощания.

— Между прочим, я видел вас на похоронах академика Гзиришвили.

— Вы что же, были знакомы с академиком Гзиришвили?

— Нет, я пришел просто так. Из любопытства. Я едва не умер от зависти. Еще бы, старый академик запросто обставил меня.

— Как это понимать? — У меня екнуло сердце.

— А очень просто. Ума не приложу, как сумел дряхлый мозг академика подсказать ему столь мудрый шаг? Или как сумело его израненное, слабое сердце так мужественно встретить его решение?! Насколько я понимаю, дорогой братец (это обращение не выражало его истинного отношения к нашей кровнородственной связи), самоубийство вовсе не простая штука. Наверное, каждый человек желал себе смерти в минуту отчаяния или горя. Но желать — одно, а сделать — другое... Видно, двадцати лет жизни еще не вполне достаточно, чтобы прийти к подобному решению. Наверное, этот один-единственный час, когда ты поборешь себя и преодолешь страх, зреет в человеке десятилетиями...

Гоги опять закрыл глаза.

Пауза.

Гогина рука осторожно нащупала клавишу и выключила магнитофон.

В комнате воцарилось молчание.

Последние слова Гоги заставили меня вздрогнуть, и сердце мое сжалось.

Гоги, подложив под голову руки, лежит с закрытыми глазами.

Молчание.

Невыносимое, тягостное молчание.

Странное чувство овладевает мной: кажется, стоит только протянуть руку, и тут же физически ощутишь эту тишину...

— Что случилось? — спрашиваю я из окна машины старика в соломенной шляпе!

— Человека убили, друг, человека!

Вокруг здания милицейская цепь.

— Проезжайте, проезжайте, — говорит мне молоденький милиционер.

Я поставил машину в соседнем квартале и пешком возвратился назад.

На противоположной стороне улицы наискосок от окруженного дома собралась огромная толпа. Стараясь не упустить ни малейшей детали из происходящего, толпа смотрит то на милиционеров, то на верхний этаж дома.

— Что случилось? — спрашиваю я на этот раз широкоплечего мужчину, стоящего у дерева с сигаретой в зубах.

— Какой-то тип зарезал ножом своего соседа, а теперь скрывается на чердаке.

Лицо незнакомца поразило меня. Глаза его светились жгучим любопытством и радостным предвкушением дальнейших событий. Мне показалось, что он ждет их с каким-то болезненным интересом и даже сладострастием. Омерзительно грубые и черные волосы оцетинились на его плоской голове.

— Три часа они торчат здесь и не могут взять одного паршивца.

— Три часа? — пристально вглядываюсь я в его горячие глаза.

— Пусть отвалят мне две сотни, я его за пять минут в расход пушу. Ну, максимум за десять.

— За двести рублей?

— За двести. Что, разве много?

Когда я встретил его недоверчиво-удивленный взгляд, кровь заледенела в моих жилах. Мне почудилось, что его прямая, жесткая щетина растет прямо из мозга.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Ты когда-нибудь задумывался над тем, кто ты есть?» — снова слышу я голос Левана Гзиршвили.

Я и сегодня еще не знаю, как ответить на этот странный вопрос. Тем более не знал я этого тогда, когда молча смотрел в его глаза.

Я заметил, что он и не ждал моего ответа, точнее, я догадался, что он сам собирается ответить на свой же вопрос.

«Для милиции ты гражданин Нодар Георгиевич Геловани; для меня сотрудник, способный ученый, доктор физико-математических наук, неплохой и удачливый экспериментатор; для соседей — несколько холодноватый, но воспитанный и вежливый молодой человек; для кондуктора автобуса — пассажир; для врача — пациент; но сам-то ты знаешь, кто ты такой? Что ты из себя представляешь, чего хочешь, к чему стремишься и какой ценой?».

Кто я такой?

И что из себя представляю?

Чего хочу и к чему стремлюсь?

Неужели я действительно никогда не задумывался над этими вопросами? Скоро мне тридцать пять, и кажется, всю свою жизнь я только и делал, что пытался разобраться в собственном «я».

Тридцать пять...

Сколько раз я страшился оглянуться назад. Сколько раз краснел, вспоминая свои бездарные и беспомощные поступки.

«Ты пока еще молод, ты идешь на поводу у собственных чувств. Тебе еще не изменяют силы и энергия. Ты все еще полон надежд на будущее и не анализируешь содеянного тобой, тебя совершенно не заботят итоги. К тому же ты замкнутый человек. Мне кажется, что тебя больше других твоих ровесников тревожит собственная личность. Ты больше других стремишься заглянуть в собственную душу и в собственное существо. Я давно уже заметил, что тебя грызла и до сих пор

еще грызет какая-то тайная печаль. И это не была печаль несбывшихся надежд и бесплодных опытов физика-экспериментатора. Тебя гораздо больше волнуют тайны человеческой души, нежели тяжелые протоны и мезоны».

Лишь в одном ошибался старый академик, говоря, что я все еще полон надежд на будущее, не анализирую содеянного и совершенно не забочусь об итогах.

Хотя, кто его знает, может, до его гибели я и впрямь не столь болезненно ощущал собственное ничтожество.

Может, мое безразличие и печаль лишь результат душевной депрессии, вызванной самоубийством Левана Гзиришвили? Может, стоит только пройти времени, и спокойствие, радость и надежда на будущее вновь вернутся ко мне. А может, чувства безнадежности и собственного ничтожества давно уже свили гнездо в моей душе и лишь ждали благоприятного момента, чтобы проявиться в полной мере. Может, я попросту ждал от жизни гораздо большего и имел о ней и о людях гораздо более возвышенное и красивое представление, чем это оказалось на самом деле? А может, на мне сказалось разочарование в любви, охлаждение к Эке? Может, права Эка, что появится какая-нибудь девушка и Нодар Геловани вновь возродится?

Вопросы лезут отовсюду, мешаются в голове, сверлят мозг, бередят душу, превращаются в одну мелко дрожащую студенистую массу, вызывающую физическое отвращение при малейшем соприкосновении с ней.

Я медленно раскрываю отяжелевшие веки.

Лежа на спине, я внимательно изучаю потолок. На моей левой руке пристроилась Экина голова. Она лежит лицом ко мне, глаза ее закрыты, и слабое ее дыхание щекочет мне грудь. Но она не спит.

Жарко.

Время от времени в комнату врывается приятный ветерок. Рядом с кроватью на стуле пепельница, полная окурков. Сколько, оказывается, я накурил.

Тянуть дальше не имеет смысла. Я хотел было сказать, что сегодняшняя наша встреча — последняя, но, почувствовав, что и Эка догадывается об этом, предпочел промолчать. Я твердо решил навсегда покончить с нашими выматывающими встречами. Пора бы тебе позаботиться о себе. хочу сказать я Эке, но слова застревают в горле. Я знаю, какую непоправимую обиду нанесу я ей этими словами. Но что за словами?

«Будет лучше, если ты создашь свою семью».

Молчание.

Тупое, тягостное молчание.

Я хватаюсь за спасительную сигарету. Боясь обеспокоить Эку, придерживаю коробок ладонью правой руки и резко чиркаю спичкой.

И с наслаждением затягиваюсь.

Табачный дым щекочет гортань, вползает в вялые легкие.

Молчание.

Еще одна затяжка.

Я выпускаю дым вертикально, к потолку, чтобы он побыстрее рассеялся и не потревожил Эку.

— Я тебе не мешаю? — на всякий случай спрашиваю я.

— Нет, — тихо отвечает она.

Как чужд теперь мне этот голос!

Нет, лучше все-таки сказать, что сегодня мы встречаемся в последний раз.

Неужели она так уже и опостылела мне?

Ни в коем случае! Просто у меня недостает больше сил быть с ней таким же внимательным, как раньше.

Я чертовски злюсь на себя. Но при чем здесь внимание? Я попросту опустошен.

И разве только в любви?

Нет, я и в работе утратил всяческий азарт и вообще начисто лишился чувства радости.

Почему?

Трудно ответить на этот вопрос однозначно и определенно. Главное, наверное, все же в том, что грусть одолела меня и мною овладело острое переживание ничтожности человеческого существования и бессмысленности жизни.

«Ничтожности человеческого существования»... Почему это я присвоил себе право говорить от имени всех? Нет, нет, я не собираюсь создавать теории, я говорю лишь о себе. Меня мучает и терзает кризис моей личности. Я даже не могу сказать, чем вызван этот кризис. Может, во всем повинен тяжелый и утомительный ритм современной жизни? А может, меня докучала духовная нищета людей? Или фальшь, лицемерие, зависть, обывательская психология мещанства?

Не знаю, мне трудно назвать конкретную причину. Но факт остается фактом: чем дальше, тем больше разъедает мою душу ржавчина. И я не утруждаю себя, чтобы понять, отчего это происходит. Я человек чувства, эмоции захлестывают меня. Даже бездельицы выводят меня из себя и заставляют остро переживать. Из моей памяти ни за что не вытравить последний вечер, проведенный у моего учителя. Видно, роковой шаг Левана Гзиршвили выбил почву у меня из-под ног и всколыхнул все мое существо. На первых порах я даже не отдавал себе в этом отчета, старался избавиться от преследующего наваждения. Эка много раз говорила, что я резко изменился с того вечера. Я злился и гневно отмахивался от ее слов, но, успокоившись, признавал в душе их справедливость.

Эка.

Меня мучает совесть, что я заставил ее потерять впустую шесть долгих лет.

«Потерять впустую?!».

Еще хорошо, что я никогда не обмолвился об этом при Эке.

Но если подумать, я не совсем прав, говоря так. Да, Эка не создала семьи, не имеет мужа и детей. Бог знает, что думают о ней родные, близкие, друзья и знакомые. Зато как счастливы мы были все эти пять лет! Правда, последний, шестой год в счет не идет.

Да, но ведь счастлива была не только она. А сколько счастья она подарила мне.

Мне скоро тридцать пять. И за всю эту краткую или долгую жизнь я помню лишь те дни и мгновения, когда я любил Эку,

когда я не находил себе места, ожидая ее, когда лицо мое ныла-ло, а кровь леденела в жилах от предвкушения встречи с ней.

И все-таки я чист перед моей совестью. Ведь я ни разу не пообещал Эке, что буду любить ее вечно, до конца дней. Да что там, я даже ни разу толком не признался ей в любви, не говоря уже об обещаниях. Наша любовь была взаимной, в основе ее лежали чувства, а не пустые клятвы в любви до гроба.

Какой же я мерзавец! Вот когда я ощутил по-настоящему, как коричневая ржавчина разъедает мне душу. Эка никогда не требовала от меня клятвенных уверений в любви, и я никогда не говорил ей об этом. Может, я подсознательно готовил себя к будущему, когда любовь минет без следа? Ведь я ни разу не загадывал наперед и даже не понимал, что когда-нибудь наступит этот день. Просто во мне невольно срабатывал некий механизм самостраховки и самозащиты. Но что могли значить тут слова? Я упорно прячу голову в песок, всячески стараясь отмахнуться от неприятных мыслей. В ином случае придется признать свою низость и подлость.

И я закуриваю.

Последняя сигарета. Я судорожно смял пустую коробку и забросил ее в дальний угол комнаты. Этот произвольный жест, казалось бы, ничего не выражает. Но, видно, я все-таки сорвал на этом безвинном коробке свою злость, сумятицу мучительных мыслей, которым не видно конца.

Зачем было забрасывать коробок в угол комнаты, когда место ему на пепельнице, стоящей совсем рядом, на стуле? У меня даже в мыслях не было забрасывать его куда-то. И, тем не менее, я это сделал.

Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы поселились в этом укромном номере гостиницы. Вчера в три часа дня мы впервые открыли его дверь. Который час теперь? Я пытаюсь угадать время по углу падения лучей солнца, проникающих в окно. Но мне это не удается. Полдень или уже вечереет? Должно быть, все же полдень. Невыносимая жара.

Меня беспокоит голод.

В маленьком холодильнике лежат фрукты, еда и даже выпивка. Чтобы не ходить в ресторан, я запасся всем этим еще вчера. Никого не желаю видеть. Нервы и без того на пределе, и суматоха вконец доконала меня.

Вставать неохота.

Мне кажется, пришло время поговорить с Экой начистоту. Откладывать уже некуда. Надо собраться с силами и поставить точку. Отныне как бы туго мне ни пришлось, ни за что не стану звонить ей. И всячески буду избегать встреч, даже случайных. Невыносимо. Если уж расставаться, так навсегда.

Так будет лучше.

Пора кончать эту бессмысленную игру в прятки.

Вот возьму и выложу ей все, без обиняков. Но слова застревают в горле. Не могу.

Я опять вспоминаю о спасительной сигарете.

Но пустой коробок валяется в углу комнаты.

Я в отчаянии шарю рукой по стулу, но сигарет нет. И тут я вспоминаю, что в кармане куртки должна быть еще одна пачка «Колхиды». Куртка свисает с ручки кресла.

Я осторожно выпрастываю левую руку из-под головы Эки. Эка едва приподняла голову и, не меняя позы, положила ее на подушку.

Я привстал и дотянулся пальцами до куртки.

Я чувствую, как сверлит мою спину Экин взгляд. Я даже вижу презрительную, гневную улыбку, играющую на ее губах.

Я достаю сигареты из кармана куртки и бросаю ее на кресло.

— Что это с тобой? Ты без конца куришь. Так нельзя, — говорит Эка.

Что это — издевка?

Да, наверняка.

Эка прекрасно знает, чем закончится сегодняшний день. Безошибочное женское чутье подсказало ей, зачем я привез ее в Боржом, в этот душный гостиничный номер. Она прекрасно чувствует мою беспомощность и идиотскую нерешительность. А я не могу связать даже двух слов, чтобы раз и навсегда покончить с нашими постылыми отношениями.

Я убежден, что она молчит намеренно. Ей доставляет удовольствие мучать меня. А может, она просто хочет убедиться в моей низости, в моем ничтожестве, чтобы тем самым облегчить себе расставание.

Нет, так продолжаться больше не может. Я с яростью вдавливаю сигарету в пепельницу.

— Так больше нельзя, Эка! — выдавливаю я из себя.

И не узнаю собственного голоса. Словно кто-то чужой прознес эти придушенные слова.

— Так больше нельзя, Эка! — раздраженно повторяю я и поворачиваюсь к Эке лицом.

Предчувствие не обмануло меня: на губах Эки застыла презрительная и злая улыбка.

— Чего нельзя?

— Нам больше нельзя быть вместе!

— Ну и что? Разве я возражаю тебе? Я давно уже знаю, что больше так продолжаться не может. У меня не оставалось иного пути, как примириться со своей участью. И я это сделала. Разве я хотя бы раз позвонила тебе сама? И разве по моему желанию оказались мы в этом номере?

— Эка...

— Не мучай себя понапрасну. Я знаю, что ты привез меня сюда прощаться. Я еще в Тбилиси угадала твое намерение.

Короткая пауза.

— Не волнуйся, до двенадцати осталось недолго ждать. Я уеду в Тбилиси поездом. А ты поедешь в свою лабораторию, и на этом все кончится.

«Все кончится».

Все, что должно было быть сказано между нами, сказано, но коричневая ржавчина продолжает грызть мою душу.

Пауза.

Тягостное, выматывающее молчание.

Интересно, который теперь час?

Часы лежат на столе, стоит только привстать. Но встать я не в силах. По-прежнему пытаюсь угадать время по лучам солнца.

Я голоден.

Видно, уже вечереет. Шестой час, не меньше. Прохладный ветерок чаще теребит занавеску на открытом окне. Новая сосна заслоняет видимость, и слабые лучи, пронизывающие ее разлапистые ветви, подтверждают мою догадку.

Все уже решилось, но меня, как и прежде, страшит миг расставания. До отхода поезда еще целых пять часов, если не больше.

Минуло шесть лет со дня нашей первой встречи. Но я отчетливо помню все, словно это было лишь вчера. Я затормозил у перекрестка, дожидаясь зеленого света. Неожиданно кто-то ударил меня сзади. Раздался скрежет и треск разлетевшихся фар. Внезапный удар бросил меня вперед, и я едва не пробил головой ветровое стекло. Я в бешенстве выскочил из машины. Но злость как рукой сняло, когда за рулем белых «Жигулей» я увидел плачущую от испуга красивую девушку.

Потом...

Потом, проводив ее до дому, я часами стоял вместе с ней у железных ворот ее двора.

— Эка! — шептал я, целуя глаза девушки...

— Пусти меня!

Я не пускал ее, да и сама она не собиралась уходить.

В конце концов она все же вырывалась из моих объятий и оказывалась по ту сторону решетки. Я быстро просовывал руки между прутьев и с силой тянул Эку к себе. Моя голова не проходила в решетку, но губы наши все же касались друг друга.

Какая она была красивая в раме прутьев! Глаза ее сияли, и челка слегка тушила это ликующее сияние.

— Уходи, прошу тебя, нас увидят!

— Еще немного.

— Уходи, прошу тебя, уходи!

— Поцелуй меня.

Но одного поцелуя нам было мало.

— А теперь уходи! — молила она, но я чувствовал, что ей не хочется этого.

— Нет, ты первая. Завтра ровно в восемь утра я буду ждать тебя здесь.

— Но в восемь очень рано. Что я скажу своим родным, куда, мол, несет меня ни свет ни заря?

— Придумай, что хочешь.

— Но что я могу придумывать каждое утро? Хватит, прошу тебя, у меня все лицо горит.

Видно, я сильно прижал ее к прутьям решетки.

— Я ухожу! — говорит она наконец и уходит.

Я долго стоял, вцепившись в холодные прутья, и глядел, как растворяется она во мраке. Потом я поворачивался к ее окну и не уходил до тех пор, пока в нем не гас свет.

Я медленно брел по улице и с нетерпением смотрел на часы, считая каждую минуту до нашей утренней встречи. Шесть-семь долгих часов казались мне бесконечными.



Я опять закуриваю.

— Ты слишком много куришь, Нодар.

— Ну и что из того? — злюсь я. — Я курю много, а за того, что мне надоела моя бессмысленная жизнь.

Последние слова я кричу. Тяжелый ком застрял в горле, сердце бешено стучит. Мной овладевает отчаяние.

Отчего я нервничаю?

Вроде бы все кончилось хорошо. Но почему мне так грустно? Почему сердце бульжником подступает к горлу?

Эка сядет в двенадцатичасовый поезд, и на этом все кончится. Но ведь я сам этого хотел, ведь только за этим привез я ее в Боржоми? Так чего же мне еще желать? Что происходит со мной? Что пугает меня? Наверное, моя беспомощность, ничтожество и страх перед жизнью...

— Зачем возвращаться к сказанному? Мы ведь обо всем уже договорились и спокойно расстанемся друг с другом! Чего тебе еще надо? Что тебя тревожит и бесит? Потерпи еще несколько часов. А если тебе неважно, я сейчас же оденусь и уйду.

— Выслушай меня, ради всего святого, иначе я не знаю, что натворю! — ору я не своим голосом.

— Тише, прошу тебя. За стенкой все слышно!

— Так слушай меня внимательно, не то я сойду с ума. Ты должна понять меня, Эка, должна понять! Я слабый и чувствительный человек. Я не в состоянии жить так, как живут другие. Меня бесит и сводит с ума, что вокруг крутятся злые и завистливые люди. Я не выношу лжи и фальши, не выношу подхалимства и подсиживания, не выношу вероломства и убийства. Жизнь для меня лишь отчаяние и разочарование. А я сам? Как живу я сам? Почему я мирюсь с безобразием, царящим вокруг меня, почему я не борюсь с подонками и эгоистами, день и ночь твердящими высокие слова о гуманизме, человеколюбии, патриотизме? У меня нет никакого желания, чтобы и мой сын страдал подобно мне.

— Осторожно, Нодар, у меня болят плечи!

Только теперь я замечаю, что, схватив Эку за плечи, я изо всех сил трясу ее.

Я прихожу в себя и, выпустив Экины плечи, ничком валюсь на подушку. Холодный пот выступил у меня на лбу.

Молчание.

Эка, окаменев и затаив дыхание, смотрит на меня.

Я тяну руку за сигаретой.

— Больше курить тебе нельзя! Ты отравишься! — Эка силой вырывает у меня из рук пачку сигарет.

Я, не сопротивляясь, закрываю глаза.

И снова молчание.

Внезапно кровать затрещала — Эка встала. Я упорно не открываю глаз.

Время от времени до меня доносится шум проезжающих машин, голоса громко переговаривающихся женщин, детский визг. Все эти звуки наползают друг на друга, сталкиваются и комом застревают в моем затуманенном сознании.

По шороху я догадываюсь, что Эка одевается и выходит в ванную. Не знаю, сколько времени она пробыла там. Навер-

ное, целую вечность. Но сухого шелеста воды я уже не слышу. Видно, она уже закрыла душ.

Стук двери. Эка уже в комнате.

Глаз я не открываю.

Нетрудно догадаться, что она укладывает чемодан.

— Уже девять часов! — спокойно произносит она.

Нет, это не Экин голос, кто-то другой произносит эти слова. Невозможно представить, чтобы этот колючий и холодный звук лился из Экиного горла. Куда только подевался ее мелодичный голос, дрожащий от любви и нежности?

— Уже девять часов! — повторяет Эка.

В ресторане мы садимся в укромном уголке и терпеливо дожидаемся официанта. Кто его знает, когда он соизволит подойти к нам.

Молчание.

Словно два чужих человека случайно сошлись за трапезой. Нет, слово «чужой» не совсем точно выражает наше состояние. Ведь, в конце концов, оказаться за одним столом с чужим человеком, и притом с такой красивой девушкой, как Эка, не так уже и плохо, более того, приятно, ибо сулит смутную надежду.

Нет между нами и враждебности.

Просто между нами пролегла тяжелая, серая и влажная масса молчания, надрывающая наши сердца и перехватывающая дыхание.

Я гляжу куда-то вдаль, но ничего не различаю. Никогда не мог представить, что все завершится настолько пошло.

Слава богу, к нам направляется официантка с закуской на подносе. Я почувствовал огромное облегчение. Хотя бы что-то можно делать. Я суетливо разливаю вино, подвигаю поближе к Эке соль и перец. Все, что угодно, лишь бы не это идиотское оцепенение.

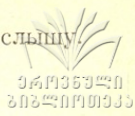
В ресторане малоллюдно.

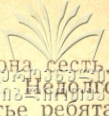
Справа от меня, через столик, восседает счастливое семейство. Румяный, упитанный папочка и мамочка, с сардельками пальцев, унизанных кольцами, втолковывают своим вертлявым отпрыскам, что следует хорошо есть.

Подальше за двумя столиками сидят в одиночестве уныло ужинающие мужчины.

За столиком напротив нашего, у широкой стеклянной стены сидят, о чем-то вполголоса переговариваясь, двое юношей и две девушки.

Лишь за одним из столиков веселится галдящая компания. Все уже навеселе. Стоило нам войти в ресторан, как четыре пары осоловелых глаз нагло ощупали Эку с головы до ног и безразлично скользнули по мне. Я сделал вид, что не заметил этого, и не мешкая прошел с Экой к заранее облюбованному столику. Эка всегда привлекала к себе внимание. Я давно уже привык к этому и, признаться, в глубине души даже бывал польщен. Но теперь молчаливое восхищение и напряженное любопытство подвыпивших ребят взвинтили меня до предела. Впрочем, чему удивляться, наши отчужденные лица невольно обращали на себя внимание.





Эка выбрала явно неудачное место. Не успела она ^{как ее взгляд встретился с мутными глазами кутис} ~~сесть~~, как ее взгляд встретился с мутными глазами кутис. Недолго думая, Эка встала и уселась спиной к ним. На счастье ребята отвернулись от нас и продолжили свои тосты. Мои нервы были настолько напряжены, что я не преминул бы запустить в них стулом.

Я нехотя жую что-то. Эка к еде не притронулась.

— Поешь чего-нибудь. Успеешь наголодаться в поезде.

— Не хочу.

Аппетит окончательно пропадает. Я кладу вилку на тарелку и смотрю на Эку.

— Может, у них есть кофе? — спрашивает Эка.

Я рукой делаю знаки официантке, чтобы она подошла к нам.

Кофе, конечно, не оказалось.

Официантка уходит. Я тупо смотрю ей вслед и лихорадочно думаю, что предпринять или сказать дальше. Есть уже не хочется, а молчание становится невыносимым.

Может, лучше встать и уйти?

Я судорожно шарю в карманах в поисках сигарет. Эка догадывается о моем желании и молча выкладывает из сумки на стол пачку «Колхиды». Это та самая пачка, которую она отобрала у меня в номере.

Желтый дым медленно вползает в мои легкие.

Уж лучше курить постылую сигарету, чем сидеть в идиотской позе.

— Уйдем отсюда! — просит Эка.

Она поняла, что уживаться я не собираюсь.

Счет, показываю я рукой официантке.

Приземистая, плотная женщина с изумлением окидывает взглядом наш стол, а потом смотрит на нас. Еще бы, все осталось нетронутым, даже вино, которое я с таким воодушевлением разлил по бокалам.

Официантка отходит и пощелкивает в сторонке счетами. Потом ее кто-то зовет. Она оставляет счеты и вразвалку направляется на кухню.

А молчание затягивается. Я понимаю, что, хотя бы из вежливости, надо сказать что-то. Но голос меня не слушается. Наверное, впервые за многие годы я ничего не могу с собой поделать.

— Эка, я прошу тебя понять меня правильно. Я хочу, чтобы ты была счастлива! — неожиданно выпаливаю я и чувствую, что сморозил глупость.

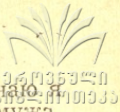
Ироническая улыбка.

— Не смейся надо мной, пожалуйста. Я это от чистого сердца.

— Я знаю, мой дорогой!

С какой издевкой произносит она это «мой дорогой!».

— Я знаю, что ты говоришь это от чистого сердца. Что я могу сказать тебе, кроме благодарности за такую заботу и добрые пожелания. Но меня очень интересует, неужели же ты веришь в то, что говоришь. Ты веришь, что я буду счастлива? Впрочем, я понимаю, что ты подразумеваешь под счастьем — семью, мужа, детей, не так ли?



Пауза.

И снова насмешливая и печальная улыбка.

— Я никогда не была о себе высокого мнения. Но знаю, и то, что не такая уж я уродина, чтобы не найти себе мужа. Представь себе, у меня есть даже поклонники. К тому же достаточно воспитанные, хорошо принятые в обществе и даже с именем. Так что можешь за меня не волноваться, Нодар. Я наверняка осчастливорю кого-нибудь из них. Более того, я уже знаю, с кем я создам счастливую семью!

«Счастливую семью!».

Я жадно затягиваюсь.

— Это правда или ты шутишь?

— Почему я должна шутить? Я говорю с тобой начистоту. Я знаю, ты будешь счастлив, если я вернусь на путь истинный («на путь истинный»). Я нисколько не сомневаюсь, что ты очень обрадуешься этому. Хотя бы потому, что совесть твоя будет чиста. Так тому и быть!

— Брось шутить, Эка!

— Я вовсе не шучу. Я говорю правду. Скажи честно, ведь ты будешь рад, если я создам семью?

«Создам семью». Неужели она издевается надо мной?

Я нервно затягиваюсь и вдавливаю сигарету в пепельницу.

— Так ты будешь рад?

— Еще бы! — через силу мямлю я, стараясь придать своему голосу и радость по поводу ее счастья, и грусть, вызванную расставанием.

— Кто этот человек?

— Он на год моложе тебя. Ученый, без пяти минут доктор наук...

— Ты это твердо решила?

— Конечно, твердо. Откладывать не имеет смысла. Мне надоели плотоядные, раздевающие взгляды мужчин. Даже близкие и те меня ни в грош не ставят за то, что я не имею законного мужа. Стоит мне куда-нибудь прийти одной, тут же начинаются наглые приставания, двусмысленные намеки. Я начинаю ненавидеть весь мужской пол! Пока я была с тобой, меня ничто не страшило. Но теперь мне страшно, очень страшно!

— Когда мы собирались сюда ехать, ты уже приняла это решение?

— Нет. Я все решила сегодня, в гостиничном номере, когда почувствовала никчемность своего существования.

Я с размаху влепил ей пощечину.

В зале воцарилась мертвая тишина. Все как по команде повернулись к нам и окаменели.

Эка даже бровью не повела, сидит по-прежнему, как ни в чем не бывало. На левой щеке ее медленно обозначился багровый след моей пятерни.

Я беспомощно оглядываю зал. Все напряглись в ожидании чего-то невероятного. Наша официантка стоит, прислонившись к круглой колонне, и с испугом взирает на нас.

Гнев душит меня. Мне хочется вскочить и заорать в полный голос, чего вы, мол, на нас уставились! Я вперил злой

взгляд в подвыпивших молодых, застывших с выпученными глазами. Один из них стоит, и стакан словно бы примерз к его вытянутой руке.

Но Эка непринужденно разрядила ситуацию. Она с улыбкой перегнулась ко мне, достала из пачки сигарету и глазами попросила прикурить. Сначала я было удивился, увидев сигарету в ее руках, ведь она никогда не курила! Но потом пришел в себя и торопливо зажег спичку.

Ее невозмутимый жест вконец изумил публику. Никто не мог толком понять, что произошло.

— Ты эгоист, Нодар, ужасный эгоист! — говорит Эка и кладет сигарету на пепельницу.

Я молчу.

— Ты эгоист и только поэтому и ударил меня. Мне это абсолютно ясно.

Я по-прежнему молчу и стараюсь вспомнить, когда возникло дикое желание ударить Эку.

— Я догадываюсь, что раздражает и бесит тебя.

Нет, это не я только что ударил Эку.

— До сегодняшнего дня ты считал меня своей собственностью и не смог перенести даже мысли, что я буду принадлежать другому. Вот причина твоей пощечины. Не надо мне ничего объяснять. Я прекрасно знаю, что тебя вывела из равновесия не вновь вспыхнувшая любовь ко мне и даже не горечь предстоящей разлуки. Нет, дорогой, ты элементарный эгоист и собственник. Стоило тебе представить, что кто-то другой будет касаться твоей собственности и, что еще хуже, распоряжаться ею, как ты тут же забил тревогу.

Пауза.

— Уйдем отсюда.

Я безропотно подчиняюсь Эке и делаю официантке знак, чтобы она подала, наконец, счет.

Коротконогая женщина покорно направляется к нам, испуганно потупив глаза.

Я не помню, как мы прошли через зал.

Потом улица.

Спину мне жжет чей-то пристальный взгляд. Нет, на меня никто не смотрит. Просто я запоздало ощутил взгляды посетителей ресторана, с неутоленным любопытством сопровождавшие нас до самого выхода.

Сосновая аллея.

Вокзал.

В ожидании поезда мы сидим на перронной скамейке.

До отправления поезда остается час, а если точнее, пятьдесят семь минут...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я отрешенно гляжу в пол.

Портрет покойного брата висит прямо напротив меня. Вновь безжалостно смотрят мне в душу его большие, строгие глаза. Но их взгляд уже не сверлит и не будоражит меня.

Посреди комнаты на тахте покоится безжизненное тело моего отца. Тлен смерти заполнил родительскую квартиру. Однако на мои нервы действуют лишь подошвы отцовских ботинок, выглядывающие из-под покрывала.

Резо стоит у окна. Прижавшись плечом к оконной раме, он, не мигая, смотрит на улицу. Он не знает, что сказать, что сделать. Время от времени он закуривает сигарету. Спички он зажигает, не отводя глаз от невидимой точки на улице.

Только первый заместитель министра вышагивает по квартире — из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. Вокруг суетится масса незнакомых мне людей. Наверное, это сотрудники брата по министерству или его друзья. Видно, и квартиру прибрали они. Когда я пришел, все уже было готово: шкафы куда-то вынесены, зеркала занавешены простынями.

Резо пришел после меня. Я сам сообщил младшему брату о смерти отца. Вахтанг позвонил мне на рассвете, сказал, что отец скончался, и попросил разыскать Резо, остановившегося в гостинице.

После позавчерашней семейной ссоры Резо ушел из дому и снял номер в гостинице.

«Доконал человека, пусть теперь хоть на похороны соизволит пожаловать», — с ядовитой многозначительностью произнес в трубку первый заместитель министра.

Было очевидно, что смерть отца он связывает с позавчерашней ссорой.

С грехом пополам я разыскал Резо. Он жил в «Иверии». Когда я сказал ему, что отец умер, он не вымолвил ни слова. Молчание затянулось надолго, и я испугался, не дурно ли сделалось Резо. «Резо, Резо!» — закричал я в трубку. Видно, он догадался о причине моего испуга и ответил: «Слышу». Он пришел через час после меня. Видно, он сидел в номере и переживал все детали ссоры, возможно, приведшей к смерти отца.

А старший брат без усталости шагал из комнаты в комнату. Ходил медленно, задумавшись, тихим голосом отдавая необходимые распоряжения. Он курил не переставая и время от времени бросал на Резо укоризненный взгляд, словно говоря: что, теперь-то ты успокоился, теперь-то ты добился своего.

Только сейчас заметил, что картина Пиросмани висит в отцовском кабинете на своем прежнем месте. Но почему? Не успели снять или оставили по каким-нибудь соображениям?

Кто-то вынес из спальни портрет матери и установил на стуле в изголовье тахты.

Мне жаль Резо. Я хорошо знаю его чувствительную натуру. Теперь, наверное, до конца своих дней он будет казнить себя за то, что стал невольной причиной отцовской смерти. Я переживаю, как бы мой старший брат, раздосадованный перипетиями позавчерашнего скандала, не дал бы почувствовать Резо, что именно он и повинен в гибели отца. Нервы Резо настолько напряжены, что ядовитый выпад брата может стать причиной нового несчастья.

Мой отец никогда особенно не жаловался на здоровье. Более того, последний месяц он как будто выглядел гораздо бед-

рей. Его смерть была для меня столь же неожиданной, как и смерть матери несколько лет назад.

— Что с ним случилось? — сразу же по приходе я у старшего брата.

— Инфаркт. Домработница готовила ужин. И даже налила чаю в стакан. Но отец запаздывал. Когда она вошла в кабинет, отец был уже мертв. — Вахтанг помолчал. — Надо смотреть правде в глаза. Я почти не сомневаюсь, что позавчерашняя ссора вконец выбила его из колен и доконала!

По его тону было заметно, что в неменьшей степени он винит и меня, ибо в ссоре я принял сторону Резо.

Я ничего ему не ответил. Да и что было говорить — все это уже не имело никакого смысла.

Я взглянул на покойного, словно стремясь убедиться в правоте слов Вахтанга.

Странное чувство овладело мной. И в том повинны не только горечь и внезапность утраты. Мою душу терзает ощущение собственной беспомощности и ничтожества.

Может, и впрямь наша позавчерашняя ссора погубила отца?

Невозможно!

Просто нечестно все сваливать на позавчерашнее происшествие.

Позавчерашняя неприятность была лишь последней каплей, переполнившей чашу.

Наверное...

Я глубоко затагиваюсь.

Желтый, удушливый яд лениво проникает в легкие.

Наверное...

Наверное он догадался, что смерть сунула ему за пазуху свою ледяную руку и изготовилась вырвать из него душу. Что он почувствовал тогда? О чем подумал? Что ощутил?

Наверное, собственную никчемность, если, конечно, страх смерти не лишил его способности суждения. Кто знает, может, оглянувшись на свою жизнь, он горько усмехнулся — зачем он жил, за что боролся и чего добился?

Первый заместитель министра неторопливо и тяжело шагает из комнаты в комнату. И по-прежнему отдает краткие распоряжения, словно демонстрируя нам свою силу и влияние. Обычная самоуверенность ни на мгновение не покидает его лица.

Я слышу его отрывистые, дельные распоряжения, но смысл их до меня не доходит. Время от времени я поглядываю на Резо, не меняя позы стоящего у окна и не мигая уставившегося в невидимую точку на улице.

Дверь мне открыла домработница и показала рукой в сторону кабинета. Отец сидел за письменным столом. Старший брат стоял возле окна и курил.

Обычно румяное его лицо показалось мне бледным. Выражение извечного довольства и покойной уверенности бесследно испарилось куда-то.

Резо, положив ногу на ногу, сидит на стуле и курит.

Сigaretа!

Мне сделалось смешно: что бы, интересно, делали в подобных ситуациях люди, не будь на свете сигарет.

Я едва заметно киваю Резо. Я не знал, что он приехал в Тбилиси. Он, не вставая, здоровается со мной одними глазами. Потом я делаю общий поклон.

Я приблизительно догадываюсь, почему меня сюда позвали.

Отец молча предложил мне стул. Я подвинул его поближе к Резо и неохотно уселся. Разговор предстоял неприятный, и я с тяжелым сердцем приготовился к нему. Видно, все ждали меня.

Пауза.

Неожиданно Резо бросил сигарету на пепельницу и резко встал.

— Разрешите спросить, зачем вы меня позвали?

Правда, спрашивая, Резо не сводил глаз с отца, но вопрос в равной степени был адресован и первому заместителю министра. Резо прекрасно отдавал себе отчет, по чьей подсказке вызвал его в Тбилиси отец.

— Садись! Можно разговаривать и сидя!

В голосе отца явственно проскользнула строгость.

— Буду я сидеть или стоять, это имеет какое-то принципиальное значение?

Разговор с первых же слов принимал крутой оборот.

Пауза.

Бросив гневный взгляд на старшего брата, невозмутимо курившего у окна, Резо сел и вновь заложил ногу на ногу.

— Я слушаю!

В глазах отца вспыхнул было огонек, но тут же погас. Отец сдержался, не приняв вызова. Он понимал, что, поддавшись гневу, можно только испортить дело. Отец негромко откашлялся и начал разговор на целую октаву ниже.

— Дважды тебя уже выдворяли с работы. Я думал, что ты хоть сейчас научишься уму-разуму.

— Я не понимаю, что ты подразумеваешь под умом-разумом!

— Я надеялся, что ты извлечешь урок из прошлого и станешь жить, как все люди.

— Я и не собираюсь жить, как все. И, между прочим, не все живут так, как полагаешь ты, отец! Под всеми ты подразумеваешь лишь тех, кто живет по твоему образу и подобию! А остальных ты ни во что не ставишь.

— Сначала объясни, что значит «жить по моему образу и подобию»? Как прикажешь понимать твои слова? Это упрек, насмешка или жалость?

— Можешь считать, что и то, и другое, и третье. Других объяснений, надеюсь, не требуется?

— Ты не смеешь разговаривать с отцом таким тоном. Я отношу его за счет твоего дурного характера.

— Как вам будет угодно. Я устал от нравоучений. Все вокруг словно бы сговорились поучать меня: родители и учителя, начальники и старшие. Ни мне, ни мне подобным не требуются поучения. Пример — вот что нам требуется, пример, которого вы нам дать не в состоянии.

— Выходит, что только на тебе и тебе подобных держится мир!

— Я не в праве отвечать отцу на издевку!

— Хорошо, что ты хоть это усвоил!

— Я знаю много такого, чего ни ты, ни мой старший братец, первый заместитель министра и будущий министр, никогда не поймете!

«Будущий министр» Резо произносит с убийственной иронией!

— Мне, может быть, многое непонятно в этом пестром мире, но одно я знаю твердо — тот, кто ищет в этой жизни правду, наивный дурачок, если не полоумный.

— И давно ты пришел к этому мудрому выводу?

— Гораздо раньше, чем ты появился на этот свет.

— Надо заботиться не только о себе, но иногда помнить и о других, — вмешался в разговор первый заместитель министра. — Не спорю, у каждого могут быть свои взгляды и принципы. И ты тут не исключение, живи, как тебе хочется, но об одном прошу тебя — оставь в покое то дело. Угомонись хоть на пару месяцев, не бросай в воду все, чему я отдал годы. Ты даже представить себе не можешь, какие люди просили, чтобы я отговорил тебя копаться в архивах. Никто не жалуется, ни одна человеческая душа не заинтересована поднимать это дело заново: ни близкие погибшего, ни народ, ни районное руководство и вообще никто. Чего же ты хочешь, каждый из них знает свое дело. Я прошу не только ради себя: не советую тебе связываться с этой публикой. Не могу понять, зачем ты сам накликаешь беду на собственную голову. Если бы кто-нибудь жаловался, еще куда ни шло! Мертвому ничем не помочь, а живым от нового расследования только одни неприятности.

— Только неприятности?

— Я пришел сюда не спорить, а договориться. Если ты будешь упорствовать в своем решении, карьере моей конец.

Молчание.

Продолжительное и тягостное.

Все разом закуривают.

Звон часов, нежный мелодичный звон, доносящийся из гостиной.

И вновь пронзительная тишина.

— Так мне надеяться, что ты, наконец, отступишься от этого дела? — Молчание Резо, видно, заронило надежду в душу первого заместителя министра.

— Не стану лгать, борьба настолько обострилась, что отступление для меня подобно смерти. Поверь, это во мне говорит не спортивная злость. Я раз и навсегда обязан разобраться в самом себе.

— С кем ты борешься, с кем?! Ты что же, не знаешь, что замахнувшись на одного, ты грозисьшь попасть в десяток других? Ты когда-нибудь видел клубок змей? Ты стремишься ухватиться за одну из змей, чтобы сломать ей хребет, но не можешь разобрать, где ее туловище. Ты хочешь взять ее за хвост, но кто знает, какой из хвостов принадлежит ей. Они так переплелись и перемешались друг с другом, что установить, где чей хвост или туловище, невозможно. Поди разберись тут!

— Тем более, тем более! — в голосе Резо слышится от-
вращение.

Молчание.

— Ты-то чего молчишь? — неожиданно набросился на меня старший брат. — Что, считаешь ниже своего достоинства сказать хоть слово?

— С чего это ты вообразил вдруг, что я поддержу тебя?

— Прошу прощения, я совершенно позабыл, что вы великий ученый и вам нет дела до наших земных забот.

— На сей раз я тебя прощаю, — невозмутимо отзываюсь я.

— Ты неправильно меня понял. Это вовсе не ирония, а слова отчаяния. Как вы не хотите понять, что ради этого треклятого, богом позабытого дела он наживает влиятельных врагов не только себе, но и мне навсегда перерезает все пути...

— Для меня существует лишь один критерий в жизни — истина, — резко обрывает его Резо.

— Ну и кому нужна эта твоя истина? — взорвался молчавший до того отец, и я увидел, как жалко запрыгала его челюсть. — Истина нужна человеку лишь до тех пор, пока он неимуц и угнетен. Но стоит ему встать на ноги, набраться силы, как он сам же и начинает попирать эту истину. Не прикажете ли, уважаемый прокурор, подкрепить мои соображения конкретными примерами?

— Можете не утруждать себя. Ничего такого, чего я сам не знаю, вы мне не скажете. Поэтому позвольте откланяться.

Молчание.

Глухие шаги Резо, потом хлопанье закрывающейся двери. И вновь гробовое молчание.

Сижу и не знаю, что мне делать. Может, и мне последовать примеру Резо? Но жаль отца.

И опять молчание нарушает первый заместитель министра.

— Если тебя не в состоянии понять даже родной брат, то что спрашивать с других?

Смешок. Злой, угрожающий смешок.

— Точно то же мог сказать в твой адрес и Резо, — не желая сердить отца, невозмутимо констатирую я.

— Нам с тобой никогда не понять друг друга, — резко обернулся ко мне старший брат.

Краткая передышка.

Потом он направился к стулу, на котором сидел Резо, и сел.

— Ты ученый, и ты кокетничаешь с грядущими веками. Твое имя уже вошло в энциклопедии и учебники. А я... я другой! Я живу сегодняшним днем. Мое имя будут вспоминать разве что мои дети и внуки, да и то редко. Я должен быть сильным сегодня, и сегодня я должен ощущать уверенность в себе. Именно сегодня я и должен добиться успеха, ибо с моей смертью и закончится моя жизнь...

Я медленно встаю.

— Наверное, и ты прав! — с расстановкой говорю я и поворачиваюсь к отцу. — Можно мне уйти?

В ответ — молчание.



Некоторое время я в нерешительности переминаюсь с но-
ги на ногу.

— Всего доброго!

Свободно я вздохнул лишь заслышав за спиной стук за-
хлопнувшей двери.

Домработница налила чай. Но отец что-то запаздывает. Боясь, чтобы чай не остыл, домработница спешит к кабинету. Но войдя в кабинет, она едва не лишилась чувств от ужаса. Отец сидел, наваясь всем телом на ручку кресла. В его остеклевенных, как бы засыпанных золой глазах не было ни искорки жизни.

Но что произошло до того?

Какую тайну унес с собой отец?

Неужели наша позавчерашняя ссора и свела его в моги-
лу?

Но, может, неприятность приключилась с ним вчера? Где он был вчера поздно вечером? Почему он возвратился домой встревоженным, обессиленным и опустошенным?

Отец умер. И мне никогда уже не узнать, что приключи-
лось с ним вчерашним вечером, что окончательно сломило его.

Никогда мне не узнать, как он пришел к моему сводному
брату и к своему младшему сыну Гоги...

Он нажал пальцем на звонок.

Никто не отозвался.

Он повторил звонок.

Тишина.

Он вернулся назад, вышел во двор и обошел дом, подойдя
к знакомому окну. Окно было наглухо закрыто. Он вновь воз-
вратился к дверям квартиры.

Неожиданно взгляд его остановился на пломбе, висевшей
на ручке двери. Он едва удержался, чтобы не упасть. Взяв се-
бя в руки, он нагнулся, чтобы рассмотреть страшный предмет
поближе. Сомнений не оставалось — комната была запломби-
рована.

«Что могло произойти?».

«Может, с ним что-нибудь случилось?»...

«А вдруг...».

Он почувствовал колющую боль в сердце.

Как поступить? Уйти домой или попытаться расспросить
соседей?

Не отдавая себе отчета, он изо всей силы нажал на зв-
нок соседской двери.

Дверь отворилась. В ней показалась молодая женщина, за
ней вышел ребенок и, прижавшись головой к бедру матери, с
любопытством стал рассматривать незнакомого мужчину.

«Кто вам нужен?».

«Я... я... я хотел повидать Гоги».

«Вы его знакомый?» — Женщина внимательно оглядела
незнакомца с головы до ног.

«Да, — запинаясь, ответил мужчина, — в некотором
роде».

«И что же, вы ничего не знаете?» — теперь уже растерялась женщина и посмотрела на запломбированную дверь.

«Нет, ничего. Меня долго не было в городе».

«Гоги похоронили месяц тому назад».

«То есть, как это похоронили?» — Мужчина пошатнулся, голова его упала на грудь, словно в череп пролился расплавленный свинец.

«Да, похоронили!» — перетрухнула женщина, не ожидавшая подобной реакции.

Пауза.

Расплавленный свинец перетек в тело и достиг сердца.

«Что с ним случилось?».

«Я знаю, здесь говорили, что он ошибся в дозе».

«Ошибся в дозе», — туло повторил он про себя.

«Ошибся в дозе», — потерянно бормочет он, выходя во двор, бормочет в такси, бормочет в кабинете, опустившись без сил в кресло.

«Ошибся в дозе»...

Он не помнил, сколько просидел так...

Он не может ни о чем думать.

Глаза его бессмысленно блуждают по двери, словно он кого-то ждет.

Горячий расплавленный свинец медленно оседает в сердце. Издали слышится музыка. Потом отчетливо зазвучала скрипка, ее голос постепенно усилился и перекрыл весь оркестр.

Восьмилетний музыкант лежит в постели и умирает. Глаза его устремлены в потолок, но он не видит потолка. Он смотрит в синеву неба, далеко, далеко. Огромные глаза переполнены приближающейся смертью. Рядом с кроватью на стуле покоится скрипка. Комната заполнена скрипичной музыкой. Моцарта сменяет Мендельсон. Мендельсона — Вивальди. А потом снова Моцарт... Музыка слышит только он один.

Отец и мать стоят в изголовье постели. Три дня и три ночи они не сомкнули глаз. Стоят и ждут, когда умрет их ребенок. Нет никакой надежды, ждать спасения неоткуда.

Мальчик уже лишился дара речи. Лицо его мертвенно побледнело, голубые жилочки у висков посинели и расширились. А вот и глаза закрылись. Но он все еще видит музыку, тянет к ней руку, гладит и ласкает ее.

По комнате все ходят на дыпочках, словно боясь помешать мальчику слушать музыку.

Мальчик дышит еле слышно, и временами кажется, что он уже умер. Но потом веки его вздрагивают, и родители судорожно подавляют крик, готовый сорваться с их уст.

В полночь ребенок умирает. Губы его дернулись и окаменели.

И тут же душа его, завернувшись в музыку, с невероятной быстротой вознеслась на небо.

Неожиданно кто-то осторожно просунул в дверной просвет плоскую желтую руку. Мужчина вздрогнул. Теперь шум слышался с другой стороны. Обернувшись, он увидел, как плоские желтые пальцы просунулись в форточку. Потом пока-

залась и голова, плоская, как надувная игрушка. Она косо качивалась в увеличивающемся просвете. Мужчиной овладел страх. Глаза не обманывали его — он явственно видел, как постепенно округлилась плоская голова, приобретая человеческие черты. Наконец в распахнувшуюся дверь пролезло холодное и желтое человекоподобное существо. Оно словно бы по частям проникло во все щели и лишь потом, сочленившись, превратилось в единое целое. И вся комната сразу заполнилась им. И дышать стало нечем.

Мужчина чувствует, что задыхается, но двинуться он уже не в состоянии. Желтое существо с чернильными глазами левой рукой припечатало его к спинке кресла, а ледяную правую просунуло ему в рот, пытаясь вырвать из него душу.

Мужчина чувствует, что воздух уже не проникает в легкие. Он порывается встать, но не может отвести от себя желтую руку, вцепившуюся ему в плечо. Он пытается крикнуть, но крик застревает в горле. Измученный болью и удушьем, он с нетерпением ждет, когда же окончательно вырвет из него душу безжалостная желтая рука. Теперь лишь в этом единственное его спасение.

Наконец настало и это долгожданное мгновение. Ледяная желтая рука вырвала из него душу и зашвырнула ее в темный угол комнаты. Мужчина почувствовал несказанное облегчение. Он вздохнул в последний раз и свесился на ручку кресла.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Рассвело.

Я открываю глаза и вскакиваю с постели.

В общежитии лаборатории все спят.

К востоку, за Кавкасиони, уже чувствуется приближающаяся заря.

Я вдруг сразу решил спуститься посмотреть на разрушенную церковь.

Я быстро умылся, побрился и, не сказав никому ни слова, ушел. Перед уходом я перегнал машину на левую сторону, наискосок от лаборатории, чтобы до полудня она стояла в тени.

Что мне померещилось? С какой стати посетила меня совершенно неожиданная идея?

Но так ли уж она неожиданна?

Стоит лишь вспомнить тогдашний выстрел, как тут же у меня начинает ныть плечо. В памяти всплывает одна и та же картина: я целюсь в церковь из ружья и слегка касаюсь пальцем курка. Сердце в груди норовит разорваться. Воцарившаяся вокруг тишина пугает меня, и я невольно оглядываюсь. Гия сидит в прежней позе, зажмурившись в ожидании выстрела. Дато сосредоточенно жует сигарету. Хозяин ружья стоит вполоборота ко мне, словно не желая видеть, как я буду стрелять в дверь церкви. Но жгучее любопытство не позволяет ему отвернуться от меня полностью. Из пяти крестьян, спавших в тени вяза, четверо встали и подошли поближе, а пятый их товарищ, встав на колени, не сводит с ружья глаз. Лица каждого из пятерых вы-

ражают страх и любопытство. У меня уже нет никакого желания стрелять, к тому же я сержусь на себя. Неужели я и вправду струсил? Спрашивается, чего я должен бояться?

И вновь в ушах звучит голос Дато: «Ты, слушаешь? Струсил? Мы в нашей лаборатории только и заняты тем, что повседневно подтверждаем материальность происхождения мира. А оказывается, все это проще простого: стоит только выстрелить из ружья, и никаких проблем!».

Я думал, что эпизод с церковью из моей памяти начисто изгладился. Но, видно, я ошибался. Как только на сердце у меня делалось тяжело, я тут же вспоминал воздух, со свистом взрезаемый ножницами хвостов черных ласточек, и мерзкий писк летучих мышей, стаями взлетевших из-под рухнувших стен церкви.

Едва приблизившись к кладбищу, я почувствовал, как в сердце мне вонзились тонкие иглы. А вот уже показались развалины церкви. Ничего не изменилось с тех пор, как мы покинули эти места. Видно, ни одна человеческая нога не ступала здесь.

Я осторожно хожу по поляне перед церковью, словно боюсь спугнуть чей-то покой. А вот и то место, где я спал тогда. А вот здесь, прислонившись спиной к дереву, сидел Дато. И Гия спал тут же, уткнувшись лицом в траву.

Я опять вижу его широко раскинутые руки, жутко полуприкрытый глаз и опять ищу на его спине следы пуль.

А вот и сломанное ружье. Оно валяется точно так же, как с отвращением бросил его тогда хозяин. Разросшаяся трава укрывала ствол, и он уже не блестит, как раньше. По всему видно, от дождей и росы ствол основательно заржавел.

Внезапно ствол сдвинулся с места.

Я вздрогнул.

Ствол сдвинулся еще больше.

Может, просто показалось?

Нет, зрение не подводит меня.

Неожиданно из дула показалась головка зеленовато-желтой ящерицы. Увидев меня, она тут же юркнула обратно. Потом как пуля вылетела из дула и, скользнув по траве, исчезла в развалинах церкви.

Я в сердцах ругнул себя за трусость.

Я медленно вышел из церковной ограды и зашагал по дороге в лабораторию. Вся трава, куда ни кинь взгляд, скошена. Стога, словно веснушки, рассыпались по склонам окрестных гор.

Торнике Гавашели положил трубку на пепельницу и взял в руки кий.

Ловкий скользящий удар. Шар вкатился в лузу. Торнике с удовлетворением выпрямился. Он вразвалку направился к подоконнику, взял с пепельницы трубку и внимательно оглядел зеленое поле боя.

Торнике Гавашели.

Высокий, поджарый, седой. Астрофизик, член-корреспондент академии наук Грузии. Ему под семьдесят. Мо-

ложавая, подтянутая фигура, но лицо сплошь изрыто морщинами.

У него длинные руки и изящные тонкие пальцы. Мускулистый, впалый юношеский живот, движения выразительны и грациозны.

Я никогда не видел его взволнованным. Когда спрашиваешь его о чем-нибудь, он долго не отвечает. Долгие паузы в разговоре сделались для него привычкой.

Вот и теперь он, как, впрочем, и всегда, попыхивая трубкой, невозмутимо кружит вокруг бильярдного стола, отыскивая наиболее оптимальный вариант.

Трубка неотделима от его существа. Когда он не держит ее в руках, у меня возникает ощущение, что от его гибкого тела оторгли какую-то значительную часть.

Он впился глазами в шар, потом, перегнувшись над столом и прищурившись, прицелился.

— Странно! — сказал он и вновь выпрямился. Потом дошел к подоконнику, положил трубку на пепельницу и взял кий на изготовку. — Наука похожа на пещеру с очень узким лазом. Когда ты набредешь на этот лаз, кажется, что стоит только забраться в пещеру, и завеса над тайной приподнимется.

И вновь короткий, сильный удар. Шар покатился верно, но в лузу не пошел. При отскоке он произвел переполох среди других шаров.

Гавашели оборвал разговор и стал присматриваться к беспорядочному кружению шаров. Наконец, когда они успокоились и застыли, он любезно протянул мне кий.

— Вы прервали мысль на полуслове, — подсказал я.

Гавашели взял трубку.

— Да, да, я, кажется, уже говорил, что наука представляется мне пещерой с очень узким лазом. Но вот ты наконец в пещере. И что же? Пещере не видно ни конца, ни края — расширяется себе, как воронка...

Я заметил хороший шар и приготовился к удару. Но бить не стал, ожидая, когда Гавашели закончит мысль.

— Мне кажется, этот шар не пойдет, — не одобрил моего выбора Гавашели.

Я не воспользовался любезным предостережением противника и сильно ударил.

Как всегда, Гавашели оказался прав. Шар ударился о борт, отскочил назад и заставил врассыпную разбежаться другие шары.

Я возвратил кий.

Гавашели взял кий, пыхнул трубкой и оглядел новую комбинацию шаров.

— Поразительная штука. Два квазара расходятся со скоростью, в шесть раз превышающей скорость света. Выходит, что каждый из них движется со скоростью в три скорости света.

— Это новость?

— И притом совершенно свеженькая. Мы получили материалы два дня тому назад.

Он помолчал.

— Дай-ка я попробую этот шар. Не думаю, чтобы он пошел, но попытка не пытка.

Слабый, едва заметный удар. Шар слегка чиркнул по боку своего собрата и, даже не потревожив его, лениво вкатился в лузу.

— Вот это да! — довольно воскликнул Гавашели и обратил свой взор в другую сторону, подыскивая новую жертву.

— Может, допущена ошибка в измерении? — говорю я.

— Исключено.

— Но каковы предположения в таком случае?

— Здесь могут быть два варианта. Или ошибочен сам эффект Доплера, сам метод, которым измеряются скорости движения небесных тел, или же...

Гавашели задумался, обошел стол и взял кий на перевес.

— Или? — нетерпеливо переспрашиваю я, интуитивно догадываясь, что второй вариант должен быть смелым до сенсационности.

Гавашели словно бы и не слышал моего нетерпеливого восклицания, продолжал придирчиво изучать диспозицию шаров. Потом, покачав головой, переместился по другую сторону стола.

— Или же... — вновь протянул он. — Или же необходимо очень осторожно предположить — не нуждается ли в уточнении теория относительности?

Он согнулся в три погибели, долго вертел кий в руках и, наконец решившись, сильно ударил.

Шар прошел мимо.

Когда шар остановился, Гавашели протянул мне кий, а сам стал выбивать трубку. Высыпав в пепельницу пепел и остатки табака, он тщательно прочистил трубку стержнем и положил ее в нагрудный карман. Потом подошел к бильярдному столу.

Я стоял в прежней позе, выжидательно уставившись на своего собеседника.

— В свое время теория относительности заключила в локальные границы ньютоновскую физику, — начал я.

— Да ведь и я говорю о том же, — неторопливо начал Гавашели. — Ньютоновская физика осталась частным случаем. Вполне возможно, что и теория относительности является частным случаем в солнечной системе. Ну, или хотя бы в пределах нашей галактики! Может, в квазарах и в некоторых галактиках, где происходит их ядерный распад, действуют иные законы, до сих пор неведомые нам?

— Вы верите в бога? — неожиданно спрашиваю я и кладу кий на стол.

— Как, вы больше не хотите играть?

— Сдаюсь на вашу милость.

— И все-таки, я думаю, партию следует закончить.

— Воля ваша! — Я вновь беру кий и готовлюсь к удару. Вариант был не ахти какой, но мне не хотелось утруждать себя поиском лучшего.

Удар. Шар влетел в лузу.

— Так вы интересуетесь, верю ли я в бога? — говорит Гавашели, показывая мне большой палец, удар, дескать, что надо.^{302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500}

На сей раз я бью дуплетом. Промазал.

— Позвольте уточнить, что вы подразумеваете под богом? — спрашивает Гавашели, отбирая у меня кий.

— Ну, хотя бы известный спор Эйнштейна с Бором об исчезнувших траекториях и вероятностных волнах и вообще вероятность мира в моей сфере, а теория большого взрыва в вашей.

Я достаю сигареты.

Удар у Гавашели не получился. Он с сожалением возвращает мне кий и набивает трубку. Потом кладет кисет с табаком в карман пиджака, висящего на стуле, и закуривает.

— По вашему мнению, теория большого взрыва порождает религиозные переживания? — спрашивает Гавашели, затягиваясь несколько раз кяду, чтобы разжечь огонек в трубке. — Вот уж чего никогда не предполагал!

— Вот именно. Теория большого взрыва поставила вопрос о начале и конце мира, что весьма пришлось по душе церкви.

Гавашели выпускает дым из ноздрей и задумчиво покачивает головой.

— Религия всегда находит благодатную почву там, где наука пока бессильна. Ведь непознанные явления, как правило, связывают с провидением, богом.

— Но Бор или Гейзенберг не были служителями церкви.

— Вы совершенно правы. Но вы знаете, наверное, и то, что Бор признал причинность мира и отверг лапласовский детерминизм, «книгу судеб» вселенной. И Гейзенберг не выступал против материальности природы. — Гавашели тщательно смазывает мелом кий и руки, готовясь к очередному удару.

— Но понятия начала и конца вселенной нельзя тем не менее сбрасывать со счетов.

— Вы так думаете?

Хлесткий эффектный удар, но шар в лузу не угодил.

— Вы так думаете? — повторяет он и, протянув мне кий, берет с пепельницы трубку.

Я упираю кий толстым концом в пол и, опершись на него, смотрю на Гавашели.

— Я ничего не думаю. Так думаете вы, астрофизики, а я хочу узнать об этом из первых рук.

— Во-первых, состояние вселенной в каждый данный момент представляло и представляет собой определенную фазу бесконечного процесса развития материи. У этого процесса нет ни начала, ни конца. Если допустить, что большой взрыв действительно произошел, что в результате этого взрыва действительно возникли миллиарды галактик, а материальная вселенная действительно расширяется, то это вовсе не дает нам права рассматривать нулевой момент времени на космологической шкале в качестве момента начала мира. Почему не предположить, что это лишь крайняя точка для известных нам физических законов при обратном течении времени, которое содержит также понятие непрерывного метрического времени-пространства?

Пауза.

Я внимательно смотрю на Торнике Гавашели. Видно, табачный дым угодил ему в левый глаз и он усердно трет его кулаком.

Потом я наклоняюсь к бильярдному столу и изучаю расположение шаров.

Последняя затяжка.

Дым заполняет гортань и воровато заползает в легкие.

Я иду к окну, вдавливаю окурок в пепельницу и, возвратившись к бильярду, готовлюсь к удару.

Но моя попытка безуспешна и на этот раз. Шар обошел по очереди все борта и застыл, как вкопанный.

— Существует еще один парадокс, — говорю я, протягивая кий Гавашели. — Вы упомянули обратное течение времени. Современную вселенную характеризуют положительно заряженные протоны и отрицательные электроны. Одним словом, наша вселенная представляет собой вещество, а не антивещество. Многие полагают, что первоначально...

— Первоначально? — прервал меня Гавашели. — Что вы подразумеваете под этим словом, что вы считаете первоначалом?

— Первоначальным я считаю конденсированную вселенную, когда вещество было однородным, а температура достигала многих миллиардов градусов. Никаких атомов в ней не существовало. Во время четвертого агрегатного состояния вещества существовали лишь элементарные частицы. А согласно общим законам физики во всех точках должно было быть поле, обладающее изотопным излучением одинаковой интенсивности.

— Я с вами согласен, но мне представляется беспочвенным ваше словечко «первоначально». Эта фаза не была начальной фазой материи. Она была лишь начальной фазой большого взрыва.

— Что ж, согласен. До большого взрыва наша нынешняя метагалактика была бесконечно сжатой в одну точку и раскаленной до многих миллиардов градусов. Повторяю, я согласен, что и эта фаза была лишь одной из фаз непрерывного и бесконечного процесса развития материи и ничем больше. По этому вопросу я с вами не спорю и хочу сказать вам совсем другое. Многие полагают, что в этом бесконечно упругом теле вещество и антивещество для симметрии должны были возникнуть в равных количествах. А после большого взрыва вместе с понижением температуры частицы и античастицы должны были уничтожить друг друга. В случае симметричности вселенной, вселенная перестала бы существовать, и все превратилось бы в излучение.

Пауза.

— Я вас слушаю, — говорит Гавашели.

На сей раз он слушает меня с интересом, и глаза его больше не обращаются к бильярду.

— Естественно, возникает вопрос, почему частиц было больше, нежели античастиц?

Я помолчал.

— А может, в различных «пространство-временах» бог распределил различные комбинации частиц? Ведь можно предположить, что антивещество существует где-то в ином «пространство-времени»?

И вновь долгое молчание.

Затем Гавашели оживился, быстро положил трубку на пепельницу и сосредоточенно оглядел зеленое сукно стола. Красивый хлесткий удар. Последний шар. Конец. Я проиграл.

Гавашели кладет кий на стол и смотрит на часы.

— Уже пятый час! — говорит он, нахмурясь. Потом вытряхивает из трубки табак, надевает пиджак и платком тщательно стирает мел с руки.

— Вы правы! — неожиданно возвращается он к нашему разговору. — На сегодняшний день трудно высказать какое-либо определенное мнение о многих явлениях. Техника стремительно шагнула далеко вперед. Мы сделали столько открытий, что для объяснения и анализа механизма их действия у нас не хватает ни времени, ни фундаментальных законов современной физики. Но то, что невозможно объяснить сегодня, наверняка можно будет объяснить завтра. Часто открытие, на которое ушло чуть ли не с десяток лет, сегодня кажется нам банальной истиной. Сколько столетий ушло на то, чтобы убедить человечество во вращении земли? Теперь с этой истиной знакомы едва ли не грудные младенцы.

— Не кажется ли вам, что вся метagalaktika — один целостный организм, который дышит, движется, живет, стареет и, наконец, умирает?

— Это можно сказать лишь об отдельных звездах. Они, действительно, рождаются, стареют и умирают, однако процесс их происхождения непрерывен. Может, мы выйдем отсюда?

Он спокойно отворил дверь.

— Прошу вас!

— Нет, нет, сначала вы, уважаемый Торнике.

— Прошу сначала вас. Я здесь хозяин.

Вечерняя прохлада тотчас же напомнила нам, что целый час мы дышали спертым воздухом.

— Понятие, называемое нами эволюцией вселенной, неверно, — вновь начал я.

— Но почему?

— Я думаю, что вселенная испытывает не эволюцию, а деградацию.

— Ваше соображение не оригинально. Многие ученые полагают, что вселенная потихоньку изнашивается и истребляется. И ни одна сила не в состоянии восстановить ее ткань.

Я закуриваю.

— Я имею в виду теорию тепловой смерти вселенной. Согласно второму закону термодинамики, материальный мир будет двигаться лишь в одном направлении. В результате возрастания энтропии энергия полностью исчерпается, и вселенная прекратит активную жизнь.

— И эта теория не нова.

— А я и не собирался предлагать вам новые теории. Просто спрашиваю, желая проверить себя по некоторым вопросам.

— Да ведь и я отвечаю просто так. Существует что необратимость вселенной не приведет материальную вселенную к тепловой смерти. К сожалению, современная наука не может сказать ничего определенного о том, что будет спустя миллиарды лет.

— Но достанет ли у человека возможностей до конца проникнуть во все тайны вселенной? Ведь это означало бы, что человек превзойдет природу, создавшую его! Неужели человек когда-нибудь создаст машину, превосходящую его по сложности? Ну, хотя бы такую, которая будет обладать чувством юмора, способностью любить и ненавидеть, радоваться и грустить?

— Я верю в человека. Посудите сами, даже в нашей короткой беседе мы пытались заглянуть в мир через миллиарды лет и увидеть, что с ним станет в случае, если действительно исчерпается последний эрг вселенной. Повторяю, я верю в безграничность человеческих способностей и сил. Природе потребовались миллиарды лет на создание форм жизни. А вы хотите, чтобы человек в какие-нибудь три-четыре десятка лет создал машины, обладающие чувством юмора? Человечество лишь недавно сделало свои первые космические шаги, а результаты уже обнадеживающие. Вы совсем еще молодой человек, и вы станете свидетелем открытий множества тайн вселенной. И вы еще попомните мои слова — возможности человека воистину неисчерпаемы и безграничны...

Общежитие лаборатории космических лучей.

Я лежу навзничь и смотрю в окно. Солнце сместилось далеко на запад, и в комнате почти темно. В четырехугольнике окна виднеются далекий хребет и маленькая церквушка на скалистом пригорке, напоминающие натуралистический пейзаж, подсвеченный невидимым электрическим светом.

Я курю.

Табачный дым окутывает меня, заполняя ноздри, гортань, легкие.

Я сердито бросаю сигарету в пепельницу на полу.

И закрываю глаза, пытаюсь отключиться, забыться, уснуть. Но все без толку.

Что со мной происходит?

Почему сердце бьется так сильно?

Может, оно приняло и ощутило некий таинственный импульс?

Иначе почему меня так томит чувство ожидания неизвестного?

«Я сегодня же должен поехать в Тбилиси! — неожиданно решаю я. — И не сегодня, а сейчас, сию же минуту!».

Я открываю глаза.

Подсвеченный невидимым электричеством натуралистический пейзаж по-прежнему висит на стене. Но теперь неизвестный художник мастерски вписал в него коня шоколадного цвета.

Я лихорадочно одеваюсь и нашариваю в кармане ключи от машины.

Внезапно конь взмахнул хвостом и двинулся вниз по склону. И сразу картина исчезла. Впрочем, не то чтобы исчезла, просто превратилась в реальность.

— Куда ты? — спросил Гия, увидев меня у машины с сумкой в руке.

— В Тбилиси!

— Что-то случилось?

Неужели он заметил на моем лице печать нетерпеливого ожидания?

— Да ничего не случилось. Вдруг захотелось. Завтра или от силы послезавтра я вернусь.

Руль покорно подчиняется движению моих рук.

— Прихвати стоящие сигареты! — кричит мне вслед Гия.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Еще пять километров, и мы в моей деревне.

Солнце зашло недавно, но уже порядком стемнело.

Звезды на небе засверкали в полную силу.

— Какие звезды! — восторженно восклицает Нана. — Они такие яркие, наверное, потому, что мы высоко в горах, правда?

— Ну, конечно, высота играет свою роль. Но главное все-таки — чистый прозрачный воздух, — откликаюсь я.

— Мы скоро приедем?

— Еще километров пять. Впрочем, по такой дороге мы доберемся не раньше, чем через полчаса.

Нана молчит, и я не могу понять, то ли ей не терпится побыстрее попасть в деревню, то ли ей по душе трястись по проселку, столь романтически заманчивому для горожанина.

Время от времени она высовывает голову в окно и, запрокинув ее, долго смотрит в небо.

Раз или два машина угодила в рытвину, и Нанина голова резко дернулась, едва не ударившись о верхний край двери.

Я медленно, переваливаясь с боку на бок, продвигаюсь вперед. Мотор машины ревет и задыхается на первой скорости. Я жду не дождусь, когда можно будет включить вторую скорость, чтобы машина хотя бы перевела дух. А до того, преданно и покорно отдавшись во власть моим рукам, она одолевает метр за метром, треугольно рассекая темноту сверкающим светом фар.

До меня уже доносится приглушенный рокот нашей реки. Еще один спуск, и мы в лощине. Дорога идет берегом реки.

— Река широкая? — спрашивает Нана.

— Достаточно.

Я улыбаюсь.

Нана, конечно, не замечает в темноте моей улыбки. Впрочем, будь даже светло, она все равно не смотрит в мою сторону.

Меня рассмешило это «достаточно».

Очевидно, мой ответ вполне удовлетворил Нану Джандиери. Ее фантазия уже заработала на полную мощность, чтобы хотя бы приблизительно представить размеры реки, с ревом несущейся параллельно дороге. Интересно, какую реку взяла она в качестве мерила? Какой же громадной может показаться человеку река, имеющая столь мощный голос, вовсе не соответствующий ее истинной величине. Итак, какой все-таки представила себе нашу Схартулу Нана Джандиери?

Самые большие реки Грузии — Кура и Риони. Все остальные познаются лишь в сравнении с ними — малые, средние, большие и самые большие.

Интересно, как оценили бы нашу Схартулу жители Енисея и Лены?

Неожиданно меня ослепили фары машины, едущей навстречу. Вскоре свет изменил направление, и два ярких круглых потока света протянулись к противоположному берегу, словно через реку перебросили две хрустальные трубы. Они постепенно изменили направление, а потом и вовсе исчезли. Видно, машина резко нырнула в переулочек в противоположную от нас сторону. Еще немного, и сноп света вонзился в склон горы. Потом он медленно повернулся к нам.

Рокот машины постепенно отделился от рева реки. Видно, в нашу сторону направлялся тяжелый грузовик. А вот он уже едет по долине навстречу нам. За широкой полосой света, льющегося из фар, угадывается его громадный контур.

Я посмотрел на дорогу. Разминуться нам явно было негде. Я съехал на обочину и включил ближний свет.

Громада машины с ревом надвигалась на нас. Поравнявшись с моими «Жигулями», водитель затормозил и поглядел на нас с высоты кабины.

— Мост разрушен. Ты езжай прямо, вверх по течению. Увидишь брод и переправляйся, да поосторожней.

— Спасибо, — ответил я. Видно, он догадался, что машина нездешняя.

— Куда едешь? — спросил меня водитель.

Гигантское тело машины тяжело вздрагивает. В темноте ничего не видно, но я догадался, что машина основательно нагружена.

— Да вот повыше, в верхнюю рошу.

Я боюсь, как бы он невзначай не оказался моим знакомым и не спугнул возвышенное настроение, сопровождавшее меня всю дорогу из Тбилиси!

— Счастливо ехать! — крикнул водитель, и гигант медленно сдвинулся с места.

Я резко взял вправо и с оглядкой выехал на дорогу.

Как странно и неожиданно произошло все: я остановил машину возле фирменного магазина «Табак» на улице Ленина и вышел купить сигарет. Возвращаясь из магазина, я лицом к лицу столкнулся с Наной Джандиери.

Сначала мне бросились в глаза ее прямые распущенные волосы, водопадом низвергающиеся на плечи. И лишь потом я увидел ее гибкое тело, туго обтянутое джинсовым костюмом.

Шла она неторопливо, высоко подняв голову. По пластике ее тела легко угадывались уверенность в себе и чувство достоинства, унаследованные изначально и глубоко засеянные в крови.

Увидев меня, она улыбнулась в знак приветствия.

— Я на машине. Если вы не против, я подвезу вас, — промямлил я, живо представив себе, как потешно я выгляжу со стороны с шаткой пирамидой сигаретных коробок в напряженных руках.

Милая гримаска согласия мелькнула на ее лице.

Я нажал ногой на стартер, и мотор мгновенно заработал.

— Куда прикажете отвезти вас? — тронул я с места машину.

— Куда угодно.

От неожиданности я так растерялся, что, остановив машину, взглянул на девушку. Она спокойно и улыбочиво посмотрела в мои полезшие на лоб глаза.

— Почему вы так удивились? Я сказала, куда угодно.

Я резко рванул машину.

Что я почувствовал? Отчего у меня екнуло сердце? И почему прилила к лицу кровь?

Ответ Наны взбудоражил меня, переполнив все мое существо неизъяснимым, но приятным ожиданием.

Как понимать ее слова? Почему мужская натура создана таким образом, что элементарная вежливость и улыбка девушки мгновенно вселяют в сердце смутную надежду на что-то?

На «что-то»...

Ведь мы невольно тут же распространяем это «что-то» именно на интимную сферу!

Не зная, что думать и делать дальше, я, признаться, растерялся еще больше. Неужели эта уверенная в себе девушка с врожденным чувством достоинства на поверку окажется обычной красивой, но примитивной самочкой, с которой все, еще не начавшись, заканчивается постелью, а возвышенные разговоры, чистые переживания и чувства исчезают бесследно после удовлетворения животной страсти? И что же тогда останется? Разве что тело, пусть красивое и волнующее, но пронзительно опустошенное?

Никогда еще я не ощущал себя таким потеряннным. И не потому, что у меня не хватало смелости или я потерял голову при виде красивой женщины. Нет, я просто не знал, что предпринять. Держать себя с благородным холодком? Но что, если у Наны Джандиери на уме совсем другое, и моя интеллигентность вызовет в ней лишь насмешку? Полезть к ней с телячьими нежностями? Но что, если моя смелость будет расценена как наглость человека, воспользовавшегося ничем не значащей вежливой фразой, произнесенной ею просто так, без всякой задней мысли?

Нет, мое состояние отнюдь не было вызвано лишь странными словами девушки. По правде говоря, с Наной Джандиери я был едва знаком, чтобы не сказать больше. Мимолетный и необязательный разговор в батумском поезде вовсе не давал мне оснований для столь далеко идущих действий. Вот почему и приобтели слова Наны совершенно иной смысл и значение, рас-

тревожив и взбудоражив меня. Вот почему поразили меня два на первый взгляд, незначительных слова, легко спорхнувшие с ее уст: «Куда угодно».

— Надеюсь, я могу истолковать ваши слова в прямом смысле? — миновав Мцхета, спросил я девушку.

— Конечно!

— И я могу воспользоваться ими целиком по моему усмотрению?

— Как вам угодно. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что сказала. И представьте, даже обиделась бы, если в ответ на сказанное мной вы предложили бы мне шаблонный маршрут Тбилиси—Мцхета—Тбилиси.

Я исподтишка рассматриваю стройные ноги девушки, обтянутые джинсами, пытаюсь представить, как бы они выглядели, будь Нана в платье. Джинсы обманчивы. Часто фигура, кажущаяся в брюках грациозной и привлекательной, в платье выглядит какой-то общипанной и жалкой. Самой нормальной фигурой оказывается тогда, когда в джинсах она выглядит чуть-чуть полноватой.

Нана Джандиери — исключение, во всяком случае так мне кажется. Когда она идет по улице, ее тело поражает не только удивительной пластикой, но и поразительной пропорциональностью. Я убежден, что в платье Нана Джандиери выиграет еще больше.

— Вам никогда не предлагали сниматься в кино? — спросил я, обогнав громадный трайлер, груженный длиннющими стальными трубами. Трасса впереди свободна.

— Очень часто.

Я напряженно смотрю в ветровое стекло, но каким-то боковым зрением вижу перед собой длинные изящные пальцы девушки.

— И что же? Вы отказались?

— Конечно.

— Но почему? Принципиальные соображения, наверное?

— Принципиальность тут не при чем. Просто я начисто лишена актерских способностей.

— А я убежден, что вы играли бы в кино ничуть не хуже любой красивой актрисы! — воскликнул я искренне, неловко управляя машиной под ее пристальным взглядом.

— Благодарю за веру в мои способности! — улыбнулась Нана. Видно, мою искренность она сочла за банальный комплимент.

Нана отвела от меня взгляд и провела рукой по волосам. Я облегченно вздохнул и вновь подчинил машину своей власти.

— Я не совсем уверена в себе, видимо, оттого, что слишком высокого мнения о профессии актера. Вовсе не исключено, что и я достигла бы кое-чего, но я терпеть не могу подделок — ни вещей, ни дружбы, ни чувств. Тем более профессии. Я ценю все настоящее, искреннее и истинно талантливое.

Молчание.

Длинное, но вовсе не тягостное.

Признаться, оно мне даже приятно.

Мне кажется, и Нане доставляет удовольствие это молчание, воцарившееся в машине, словно невидимые нити протя-

нулись между нами. Тихая музыка зазвучала во мне. Электро-волны, излучаемые прекрасным телом Наны, захлестнули меня с ног до головы, и радость переполнила все мое существо.

Время от времени, обогнав очередную машину и обеспечив себе свободную трассу, я искоса поглядывал на девушку. Ветерок трепал ее челку, сдувая ее с красивого чистого лба.

«Челка ей гораздо больше к лицу», — думал я про себя, любуясь в то же время ее лбом. С откинутыми назад волосами Нана походила на школьницу.

На указательном пальце Нана носила одно-единственное кольцо, тяжелое серебряное кольцо с чернью. Рукава ее джинсовой рубашки были закатаны по локоть, а запястье оттягивали массивные стальные часы, придававшие спортивный облик ее гибкой и подтянутой фигуре. Я часто ощущал на своем лице пристальный, смущающий меня взгляд девушки и изо всех сил нажимал на газ. Машина мчалась с огромной скоростью, не без риска для себя, оставляя позади шарахающихся в испуге своих собратьев.

Рев реки послышался совсем близко. В мерцающем свете звезд я отчетливо увидел контуры моста. По совету водителя грузовика я повернул налево и пошел по машинным следам. Вскоре показался брод. Я включил ближний свет и осветил реку. Боясь напоротся на подводный камень, я осторожно открыл дверцу и вышел из машины. Я подошел к реке вплотную, пытаюсь обнаружить в ней самое мелкое место.

Вдруг послышалось хлопанье машинной дверцы. Я оглянулся. На мгновение меня ослепили фары. Я догадался, что Нана вышла из машины и направляется ко мне. Неожиданно она попала в полосу света, который, словно сияние, обозначил контуры ее гибкой фигуры.

— Какая красота! — воскликнула Нана.

Ее голос показался мне удивительно мелодичным в тишине ночи.

Девушка, не останавливаясь, прошла мимо меня и подошла к самой реке. Она неторопливо нагнулась, скинула туфли и закатала джинсы по колено. Я невольно засмотрелся на ее точеные лодыжки и узкие нежные ступни, забелевшие в темноте.

— Ой, какая холодная! — воскликнула Нана еще до того, как ступила в воду.

Облокотившись на капот машины, я не сводил глаз с Наны, медленно передвигавшейся в воде по колено.

Фары вырезали во мраке янтарную пирамиду, упиравшуюся острием в капот. Я сунул руку в открытое окно машины и погасил свет.

— Нодар! — в испуге вскричала Нана.

Я тут же включил фары. Нана, кусок бурлящей реки и несколько ив вновь оказались в опрокинутой янтарной пирамиде. Нана испуганно ищет меня глазами, но я стою вне пределов света, и она не может отыскать меня. Не видит она и того, что на лице моем блуждает нежная, любящая улыбка.

— Не выключай, Нодар, пожалуйста, я боюсь!

91.0035940
003.0010033

Видимо, с перепугу Нана перешла на «ты». Что же, темнота и одиночество быстро сближают людей.

Нана осторожно, с опаской сделала несколько шагов, Река у брода поспокойней, но, видно, Нана все же боится упасть. Наконец она выбралась на берег и залезла на большой белый камень. Когда она выпрямилась, голова ее оказалась за гранью пирамиды, и она стояла на камне, словно античная скульптура.

На белом камне еще отчетливей вырисовывалась линия ее узкой ступни.

— Может поедем?

— Сейчас.

Она совсем по-детски помахивает в воздухе сначала одной, потом другой ногой, пытаясь высушить их.

— Не вижу, где мои туфли!

Я направился к тому самому месту, где Нана оставила свою обувь. И без труда обнаружил ее туфли, да их и не надо было искать. В белых камнях, освещенных светом фар, отчетливо виднелись два красных пятна.

— Спасибо! — поблагодарила Нана еще до того, как я подошел к ней. Я подал ей руку, и она, легко спрыгнув с камня, взяла у меня туфли.

Я пошел к машине, облокотился на капот и стал терпеливо ждать, когда Нана обуется. Но она не торопится. Видно, ноги ее еще не совсем просохли.

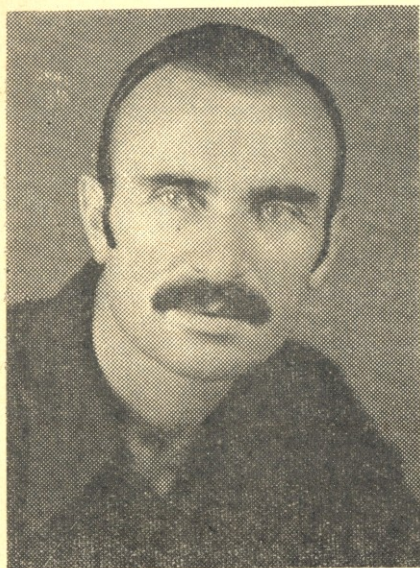
В течение целого дня что-то зрело и копилось во мне, но что именно, трудно было определить. И вот теперь я совершенно отчетливо осознал, что давно уже не был так счастлив, безмерно счастлив...

Осознал и вдруг испугался. В ушах у меня зазвучал знакомый голос, голос Эки:

«...Пройдет время, и все изменится. Если уже не нашлась, то очень скоро найдется девушка, которая одним взмахом руки отметет всю твою нынешнюю философию. И ты снова станешь таким же жизнерадостным и энергичным, каким был еще год назад. И глаза твои вновь станут такими же сердечными, внимательными и любящими, какими были они при нашей первой встрече...»

Перевод Ушанги РИЖИНАШВИЛИ

Окончание следует



Мне могут возразить, но я все-таки скажу: из всех средств выражения душевного состояния человека самой впечатляющей, самой красивой, самой волнующей формой является поэзия, — стих! — чувство, выраженное словами.

Есть у Важи Кубусидзе такие стихи; каждое слово в них четко и целенаправленно, у каждого слова есть «свое дело» — они, как добрые соседи, помогают, служат друг другу, и вот... словно в специально созданной для этого среде рукой искусного мастера не спеша, благоговейно

выстраиваются местами крохотные голубые домики, а порой то тут, то там вырастают здания с большими светлыми окнами, с вечно распахнутыми дверьми!..

И вы увидите, какое завидное усердие проявили наши друзья — русские мастера, перенося эти «строения» на новую почву. Заново их отстраивая, они не только не нарушили их первоначальный колорит, но и сумели придать им некоторые, хоть и адекватные, но все-таки новые штрихи:

«Чернота величайшего света
Мне, как легкая ноша, дана...».

Мы приглашаем вас в прекрасный мир, созданный Важей Кубусидзе и его русскими друзьями. Вы там встретитесь с радужными хозяевами, умными собеседниками.

Гиви ДЗНЕЛАДЗЕ

ОГНЕННОЕ СОЛНЦЕ 9 МАЯ



Сначала шагали, сколько могли,
Потом — сколько нужно было.
Сперва голодали, сколько могли,
Потом — сколько нужно было.
Сначала не спали, сколько могли,
Потом — сколько нужно было.
Настолько смогли, что должны были смочь,
Насколько и нужно было.
Окончилась ночь!

«Солнце огненное зажглось, выплывая...»

Все солнца огненными насквозь были
девятого мая.

* * *

Я сильней водопада, смиренней
Той стыдливой фиалки весенней,
С головою ушедшей в траву.
Сердце родственно горному краю...
Ну, а вечером я умираю,
Ежедневную смертью живу.
Чернота величайшего света
Мне, как легкая ноша, дана.
Я всегда неприметен, примета —
Лишь моя неприметность одна.
Что за горечь!.. Разгадка то ближе,
То опять отдалится — как быть?
И кого-нибудь я ненавижу
Оттого, что боюсь полюбить.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

Не пойму, зачем его зовут
Неизвестным — всех известней он,
Тот, кто свой закончил ратный труд
И в бессмертный образ воплощен.
Кто своею смертью — смерть поправ,
Кто на всех похож, ни с кем не схож,
Кто один в себя всю боль вобрал,
Горя крик и слабых пальцев дрожь.
Кто сдержал железной смерти шквал,
Твердо встав меж жизнью и войной,
Человек, что погибая стал —
Неизвестный — каждому родной.

Из цикла «Лирические парадоксы»

ДВЕ ОШИБКИ

Ошибся я.
И был наказан.
Наказан был.
И поделом.

Но...
Поглядите на меня!
Тяжелой каплей дождевою
Я с неба падал, пропадал,
И вот, когда душой живою
К земле в отчаянье припал,
И вот, когда в других опору
Вотще старался отыскать,
Себя из пепла воссоздать,
Пустыня открывалась взору.
Одно сердечное движение —
И я бы душу возродил.
Так самый холод осужденья
Ошибкой вашей главной был.

* * *

Какое множество собак бездомных
В кипящих многолюдных городах,
А в селах тихих и поселках скромных
Вы их не встретите...
Я был смущен открытием своим —
Людей я вижу всюду вдвое больше,
А вот у тех, с кем в братстве состоим,
Хозяев вдвое меньше... Почему?!

ГОЛОВА МОЯ — ВРАГ МОЙ

(Исповедь спички)

Живой горю. Кому предъявишь счет?
Небытие глотает мир земной...
Так разум мой в меня отраву льет.
Дотла сожжен, качаю головой.

ЭВРИКА

Что есть покой,
Я понял в краткий миг
Там, на ступенях белых тишины,
Когда, как гром, ребенка сонный вскрик
Меня толкнул,
И с прежней вышины
Я грохнулся!

БЫТЬ СОБОЙ

На краю
Стоять хватало сил —
Грусть мою
Он прежде ощутил.

Мысли ход
Его ведет, маня,

И найдет
Он выход за меня.

Ну, а мне?
Спешу благодарить,
Но вдвойне
Труднее стало жить.

Перевод Натальи ОРЛОВОЙ

«И ЕСЛИ Я ГОРЕТЬ НЕ БУДУ...»

Жизнь серебрилась под луной
Без края, без предела —
На крыльях бабочки ночной
Моя мечта взлетела,
Тянулась к свету сгоряча,
Порхала и парила,
Покуда истины свеча
Ее не опалила.

С ЧЕРНОЙ ЛЕТУЧЕЙ МЫШЬЮ И С ОГНЕННЫМ ПЕТУХОМ

На правой моей ладони
Сидит летучая мышь.
На левой моей ладони
Белый сидит петух...
Все небо в пламени тонет,
Вспыхнул зарей камыш,
Но скрипнула ось земная,
И свет небесный потух,
И я, бессмертный и смертный,
Стою в сияющей мгле,
На этой святой и грешной,
На горькой моей земле,
И я творю заклинанья,
Обожествленный стихом,
С черной летучей мышью
И с огненным петухом!

Из цикла «Эрос»

СТОЯТ ЕЛИ...

Солнце — словно спелая айва,
В серебристом инее трава,
Ветер затихает за горой,
Как пчела, покинувшая рой, —
Скоро, скоро белой тишиной
Мир обнимет панцирь ледяной.
Снегом лес укроется до пят,



И замерзнет резвый водопад,
Скоро, скоро из-за зимних туч
Вырвется зари последний луч —
Напоследок жарко зажжены
Ели — стражи вечной тишины...

Перевод Глана ОНАНЯНА

Из цикла «Покинутые гнезда»

ДЕРЕВНИ... ДОМА... ЛАСТОЧКИ...

Пусты дома. И ласточкиных трелей
Не слышно стало.
Гнезда поредели.
Их в наших деревнях все меньше,
Как колыбелей...

Перевод Натальи ОРЛОВОЙ

ОТКУДА ЕЩЕ ДОНОСИТСЯ...

В горной деревне дом,
Покинутый даже орленком, еще не окрепшим,
Бесшумно и незаметно рухнул глубокой ночью
Прямо на сеть паутины,
Которая ткалась годами.

А горожанам под утро
Приснилось, как паутину, под грудой обломков дома
Натянутую, как нервы, в судороге предсмертной,
Вдруг охватило пламя лучей восходящего солнца.

И случилось такое чудо:

Доски песнями стали плотника,
Плачем и смехом стругальщика.
Каменщика словами друг за другом посыпались камни,
В сложные и простые выстроились предложения —
И наполнилась голосами деревня безлюдная.

Обернитесь лицом к той горной деревне,
Откуда еще доносится предков зов.

Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ



ДОБРЫЕ ДЕЛА АБАШЦЕВ

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли недавно постановление об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы.

В этом направлении в нашей республике представляется наиболее показательным опыт Абашского районного объединения по управлению сельским хозяйством.

Мы предлагаем читателям «Литературной Грузии» беседу с первым секретарем Абашского райкома партии Гурамом Давидовичем Мгеладзе.

— В августе нынешнего года в Абаше в течение нескольких дней проводился всесоюзный семинар-совещание по вопросам дальнейшего совершенствования управления сельским хозяйством. Понятно, что Абаша не случайно избрана местом проведения этого семинара. Абашский эксперимент поистине привлек всесоюзное внимание: результатами этого опыта заинтересовались практики и ученые всей страны. Расскажите, пожалуйста, читателям «Литературной Грузии», в чем состоит проводимый в Абаше эксперимент.

— Всего несколько лет назад Абашский район по всем основным показателям состояния сельскохозяйственного производства считался одним из самых отстающих в республике. Этому положению находилось банальное, на первый взгляд, объективное оправдание.

Действительно, Абашский район расположен в самой низменной части переувлажненной Колхидской низменности. Крайне неустойчивая погода, сверхобильные осадки, приводящие поля в такое состояние, что туда порой и трактором не войти, частые сильные ветры в комплексе, казалось бы, предопределили ему вечную участь экономически слабо развитого региона с минимальными возможностями развития сельского хозяйства.

Прямо надо сказать, что в республике бытовало мнение о том, что в Абаше невозможно поднять уровень сельского хозяйства, невозможно достичь высоких результатов производства сельхозпродуктов. Однако практика опровергла это устоявшееся мнение.

Достаточно отметить, что за последние шесть лет производство кукурузы возросло в общественных хозяйствах в 3 раза, эфирномасличных культур — в 2,2, овощей — в 17, мяса — в 3,2, молока — в 2 раза. Соответственным образом увеличились объемы заготовки этих основных для района видов сельскохозяйственной продукции. Особенно разительна динамика роста погектарной урожайности. Если в 1940 году урожайность кукурузы не поднималась выше 9—10 центнеров с гектара, то в 1978 году каждый гектар посевов кукурузы дал в среднем 43 центнера зерна. За последние шесть лет погектарная урожайность овощей возросла в 8,6 раза, чая — в 2 раза, эфирномасличных культур — в 1,5 раза, средний урожай повысился на 930 килограммов. В целом валовая сельскохозяйственная продукция достигла в денежном исчислении около 12 миллионов рублей, или в 2,5 раза больше, нежели шесть лет назад, причем производство валовой продукции на 100 гектаров сельхозугодий возросло с 28 тысяч рублей до 44 тысяч, или увеличилось на 55 процентов. Производство валовой продукции на один человеко-день вместо 6 рублей составило 8,5 рубля, или производительность труда возросла на 30 процентов.

Значительно возросла оплата труда занятых в сельском хозяйстве работников — с 2,6 миллиона до 5,8 миллиона рублей, среднемесячная зарплата — с 39 до 72 рублей, а оплата одного человеко-дня поднялась от 3 до 6 рублей.

Эти показатели предопределили то положение, что прежде отсталый Абашский район, начиная с 1973 года, шесть раз подряд награждается переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании.

Напрашивается вопрос, как мы за столь сравнительно короткий промежуток времени сумели коренным образом изменить положение, создать прочные предпосылки поступательного развития всех отраслей сельскохозяйственного производства, систематического повышения объемов производства и заготовок продукции земледелия и животноводства параллельно с впечатляющим ростом доходов сельского населения.

Прежде всего с помощью единого органа сельскохозяйственного управления — Абашского производственного аграрно-промышленного объединения. Юридически, в частности, постановлением ЦК КП Грузии и Совета Министров Грузинской ССР оно было оформлено в 1974 году и причем в порядке эксперимента.

Удивительно, но факт, что за многие годы районное звено управления отраслью оставалось практически вне поля зрения компетентных органов, наших ученых, которые одновременно не жалели усилий для проведения всевозможных экспериментов, если это касалось центральных органов управления, и шли на создание всевозможных трестов, объединений, на раздувание в прямом смысле этого слова, аппаратов министерств и ведомств, каждый раз находя при этом, казалось бы, убедительные доводы. А на практике получалось так, что в районе, то есть там, где непосредственно создаются материальные блага, продолжа-

ло сохраняться слабое, некомпетентное управление сельским хозяйством, не имеющее возможности не только фактически, но и юридически отвечать за состояние отрасли в целом. Ведь действительно, вне влияния этих управлений оставались совхозы и тем более районные службы сельхозтехники и мелиорации, для характеристики деятельности которых по сути дела вообще не играют никакой роли уровень и эффективность производства сельскохозяйственной продукции.

По сути дела было нарушено органическое единство в управлении сельским хозяйством района, а обслуживание оторвано от основного производства и его управленческой структуры.

Практически во всех районах службы сельхозтехники и мелиорации совершенно самостоятельны, и их деятельность не оценивается результатами сельскохозяйственного производства — объемами продукции земледелия и животноводства.

Более того, нередко упомянутые службы отмечают даже поощрительными мерами за выполнение внутриведомственных плановых заданий, тогда как районы, где они расположены, не справляются с планами производства и заготовки сельскохозяйственной продукции.

В этих условиях на местах практически многие кардинальные проблемы развития сельского хозяйства решаются без комплексного изучения, соответствующего экономического анализа и научного прогнозирования возможной отдачи от проводившихся мероприятий.

Как следствие всего сказанного, в настоящее время фактически основная часть хозяйствования на селе ложится на районные комитеты партии, которые вынуждены выполнять несвойственные им чисто хозяйственные функции, подменять в сущности сельскохозяйственные организации, зачастую решая при этом наиболее важные вопросы сельскохозяйственного производства недостаточно компетентно.

Оценивая создавшееся положение на местах, а именно там, где непосредственно создаются материальные блага, анализируя и приводя к единому знаменателю мнение сельских райкомов партии, специалистов и практиков сельского хозяйства, можно сделать конкретный вывод: на современном этапе научно-технического прогресса, характеризующегося многими качественными и количественными изменениями в сельскохозяйственном производстве, всеобъемлющим процессом интенсификации отрасли, перевода его на промышленные рельсы, не терпит далее отлагательства реформирование районного звена управления сельским хозяйством, ибо несоответствие между развивающимся производством и пережившей себя формой районного управления отраслью сдерживает процесс этого развития, препятствует более рациональному, эффективному использованию земли, трудовых, материально-технических и финансовых ресурсов.

Абашское объединение по управлению сельским хозяйством организовано на базе функционировавших в районе организаций — Управления сельского хозяйства, районного отделения Грузсельхозтехники, Управления водного хозяйства и мелиорации, Государственной семенной инспекции, Станции по борьбе с заболеваниями животных.

Цель, которая стоит перед объединением, это, во-первых, создание в районе единого органа, способного квалифицированно руководить сельским хозяйством, отвечать от начала до конца за рост производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, уровень производственного обслуживания колхозов и совхозов; во-вторых, преодоление в районном масштабе межведомственной разобщенности, повышение заинтересованности всех местных сельскохозяйственных служб в конечном результате труда.

Объединение после получения контрольных цифр из республиканских органов полностью берет на себя функции планирования, распределения финансовых и материально-технических средств, комплектование кадрами, контроля, общего руководства колхозами, совхозами, межхозяйственными организациями. При едином управлении всеми хозяйствами района стало излишним подчинение их республиканским трестам и объединениям, ибо само районное объединение с подведомственными ему службами и сельскохозяйственными подразделениями выступает ныне как крупная централизованная хозяйственная единица.

Пятилетний опыт работы убедительно свидетельствует о том, что создан мобильный, компетентный аппарат управления сельским хозяйством, имеющий возможность проводить единую для всего района агрономическую политику, направленную на повышение агрофона, получение максимальной отдачи от земли, материальных и трудовых ресурсов.

Вся деятельность и само существование качественно нового районного органа управления сельским хозяйством, каким, на наш взгляд, представляется Абашское сельскохозяйственное производственное объединение, подчинено решению принципиально важной задачи — иметь на земле одного хозяина, с кого был бы полный спрос за рачительное ведение отрасли, систематическое повышение плодородия — основного средства сельскохозяйственного производства.

— Одним из серьезных факторов в процессе эксперимента была, как известно, прогрессивная система оплаты труда, система материального стимулирования. Как она осуществлялась?

— Тщательный анализ общественного хозяйства, глубокое, научное рассмотрение вопроса привело нас к заключению, что прежде всего нужно было осуществить новые, смелые мероприятия по материальной заинтересованности трудящихся.

Во всех колхозах и совхозах района даже самые передовые колхозники и рабочие, у которых за год было выработано по 400 трудодней, в лучшем случае получали натурой 100—150 килограммов кукурузы, а в конце месяца их заработок составлял лишь 20—25 рублей.

В таких условиях оплаты труда о каком росте производства, о каком выполнении планов и какой политике вообще могла быть речь?

Игнорирование материальной заинтересованности привело к массовой миграции населения.

Это была горькая правда, которая требовала от нас безотлагательных и действенных решений и мер.

Великий Ленин учил: «Прикрывать неприятную правду добренькими словами — самая вредная и самая опасная вещь для дела трудящихся масс. Правде, как бы она горька ни была, надо смотреть прямо в лицо. Политика, не удовлетворяющая этому условию, есть гибельная политика».

Это ленинское указание легло в основу работы Абашской парторганизации.

Положение усугублялось тем, что население района практически отошло от общественного производства — это, в свою очередь, явилось следствием не только крайне слабо поставленной организаторской и политической работы местных партийных, советских, сельскохозяйственных органов, но и отсутствия соответствующей местным условиям системы оплаты труда колхозников и рабочих совхозов, занятых в различных отраслях сельскохозяйственного производства, в том числе в кукурузоводстве. Достаточно сказать, что на выработанный человекодень в хозяйствах района к концу 60-х и в начале 70-х годов выдавали не более 1—1,5 килограмма кукурузы при полном отсутствии какой-либо другой натуроплаты и чисто символическом денежном вознаграждении. В этой обстановке руководителям колхозов и совхозов приходилось буквально при помощи угроз и уговоров выводить людей на работу, качество и эффективность труда были недопустимо низкими.

В 1973 году обновленный состав райкома партии предложил принять чрезвычайные меры, направленные к тому, чтобы в короткие сроки выправить существующее положение. Основным содержанием этих мер, одобренных ЦК Компартии Грузии, явилось повсеместное внедрение в сельскохозяйственное производство района, и в первую очередь — в кукурузоводство, новых смелых форм материального стимулирования труда сельских тружеников. Суть их заключалась в том, что помимо основной оплаты непосредственный производитель получал в виде премий натурой в следующих размерах: десять процентов от производственной плановой продукции и семьдесят процентов от продукции сверхплановой. При этом планы на отчетный год устанавливались исходя из средних показателей последних трех лет и соответственно должны были иметь тенденцию к повышению, что и подтвердилось на практике.

Происходившее на фоне резкого положительного сдвига в формах и методах организаторской и политической работы районной партийной организации внедрение названной системы материального стимулирования труда сельских тружеников позволило добиться весомых экономических результатов: если в среднем за 1967—1972 годы при плане около 14 процентов с гектара средняя фактическая урожайность составила 10 центнеров, то в период с 1973 по 1978 год эти показатели составили соответственно 30 и 36 центнеров, а в 1978 году при плане 35 получено 44 центнера зерна кукурузы с гектара. В этом году при некотором сокращении площадей под кукурузу в пользу других культур в районе было произведено 20.600 тонн зерна против 7.100 тонн в самом урожайном 1972 году. Показательно, что в 1978 году в качестве оплаты было выдано 7000 тонн кукурузы против 600 тонн, выданных в 1972 году. Соответственно

в общественном пользовании в 1972 году осталось 6.500 тонн, а в прошлом году — 13.600 тонн зерна, то есть вдвое больше.

Резкий рост производства основной для района сельскохозяйственной культуры позволил распространить действие новой системы материального стимулирования на все остальные отрасли сельскохозяйственного производства в районе, создал реальные предпосылки для крутого подъема животноводства. В социальном аспекте результатом внедрения в практику новой системы материального стимулирования явилось резкое повышение трудовой и политической активности населения района, укрепление социалистической дисциплины во всех звеньях его экономики, заметное оздоровление морально-психологического климата в трудовых коллективах.

Все это вместе взятое позволило партийным, советским, сельскохозяйственным органам приступить к практическому осуществлению второго этапа подъема его экономики на базе широкого внедрения в сельскохозяйственное производство комплексной механизации. Уже в текущем году комплексно механизированы возделывание кукурузы на 7.000 гектаров и сои на 1.000 гектаров. При этом ожидаются рекордные для района урожаи зерна кукурузы, силосной массы и сои. Внедрение комплексной механизации почти полностью вытеснило ручной труд, в связи с чем была введена в действие соответствующая форма материального стимулирования механизаторов.

Таким образом, разработанная на первом этапе подъема экономики Абашского района и усовершенствованная на его втором этапе система материального стимулирования позволила районной партийной организации успешно решить ряд сложнейших экономических, политических и социальных проблем. Опыт Абашского района позволяет говорить о том, что при решении крупномасштабных социально-экономических задач прежде всего должны быть найдены наиболее оптимальные формы материального стимулирования, основанные на взаимной материальной заинтересованности отдельного работника и общества в целом, что может стать одним из решающих факторов успешного претворения в жизнь разработанной партией программы дальнейшего развития и качественного преобразования сельскохозяйственного производства.

В заключение необходимо отметить то обстоятельство, что разработанная в районе система материального стимулирования труда сельских тружеников носит на сегодняшний день локальный характер, она не узаконена юридически, а следовательно не может быть распространена в других регионах республики. Из этого положения вытекает и возможная нестабильность в превышении тех результатов, которые достигнуты именно благодаря внедрению названной системы.

Представляется необходимым, чтобы союзные органы управления и планирования, научные центры разработали в наиболее соответствующие интересам дела сроки научно обоснованные системы материального стимулирования труда сельских тружеников, которые отвечали бы требованиям аграрной политики партии на современном этапе и учитывали бы при этом

местные региональные условия сельскохозяйственного производства.

— Большое внимание в районе уделяется развитию личных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов. На каких началах возникла форма кооперирования общественных хозяйств с населением района по производству мяса?

— В условиях Абашского района, да и в целом Грузинской ССР, приусадебное хозяйство сельского населения и по сегодняшний день играет важную роль в деле обеспечения трудящихся продукцией земледелия и животноводства.

Однако у нас еще с конца пятидесятых годов стала прослеживаться тревожная тенденция сокращения не только доли приусадебного сектора в валовом производстве сельскохозяйственной продукции, но и вообще производства в этом секторе продуктов питания и в особенности животноводческой продукции. Тут, на наш взгляд, отрицательно сказалось то распространенное принципиальное положение, в соответствии с которым считалось, что общественные хозяйства в своем быстром развитии перекроют с лихвой свертывание производства на приусадебных участках и вообще превратят существование этого сектора в анахронизм.

Отсюда проистекали такие меры, как постепенный отказ от натуроплаты сельскохозяйственного труда и переход полностью на денежную оплату, сужение прав сельского населения в использовании сенокосов и пастбищ, строгое регламентирование норм содержания скота без учета местных условий и т. д. Нельзя пройти мимо и того немаловажного факта, что населению на сегодняшний день продаются комбикорма, минеральные удобрения, ядохимикаты по более высоким ценам, нежели общественным хозяйствам, да и то в недостаточных объемах, вследствие чего население вынуждено закупать хлебобулочные изделия для скормливания скоту, естественно, в ущерб общегосударственным интересам. А между тем известно, что закупочные цены продукции, полученной из приусадебного сектора и от общественных хозяйств, не дифференцированы. Все это привело к тому, что с каждым годом увеличивалось число дворов на селе, не имеющих кормов, не выращивающих свиней, птиц. Создалось прямо-таки нетерпимое положение, когда все возрастающая часть сельского населения из производителя превращалась в потребителя продукции земледелия и животноводства.

В этих условиях стало необходимым принимать срочные меры к тому, чтобы раскрыть большие возможности приусадебного хозяйства, заинтересовать людей в этом, в буквальном смысле слова восстановить вековые трудовые традиции крестьянства, связанные с содержанием в личном пользовании скота и птицы и уходом за ними.

Районная партийная организация пришла к твердому мнению, что тем обстоятельством, тем звеном, которое движет дело вперед в нужном направлении, послужит организация выращивания и откорма скота населением на кооперативных началах с колхозами, совхозами и межхозяйственными предприятиями.

Сельское население района охотно откликнулось на предложение по кооперированию усилий с общественными хозяйствами в деле выращивания откормочного поголовья свиней и сдачи их государству. В 1978 году было оформлено 7 тысяч договоров, в которых конкретно указываются обязательства и ответственность обеих сторон кооперации.

По предварительным расчетам, кооперирование с сельским населением позволит уже в текущем году довести заготовку мяса у населения до 1.200 тонн, или на 400 тонн больше, чем в прошлом году. С учетом того обстоятельства, что хозяйства района уже с урожая этого года будут выдавать населению зерно согласно договорам, создается возможность увеличить в ближайшие годы госзакупки скота от населения до 2 тыс. тонн. Для сравнения в общественных хозяйствах района в настоящее время производится в целом 1.400 тонн мяса.

По нашему мнению, при данной форме кооперации воедино сливаются личные и общественные интересы. Личные подсобные хозяйства органически связываются с общественными хозяйствами, так как выращиваемый на приусадебных участках скот является в сущности собственностью колхозов и совхозов и вместе с тем служит дополнительным источником личных доходов населения. Следует отметить также, что при этом решается важная политическая и социальная задача по вовлечению в общественный труд абсолютного большинства населения, в том числе таких категорий граждан, как пенсионеры и иждивенцы семей.

В связи с внедрением этой формы кооперации мы столкнулись с необходимостью более эффективного использования выделяемых государством концентрированных кормов. Не секрет, что поставки их общественным хозяйствам осуществляются в совершенно недостаточных объемах. Думается, на данном этапе мы вправе ожидать большей отдачи в производстве мяса в том случае, когда какая-то часть концентрированных кормов будет продаваться населению, а общественные хозяйства специализируются на выращивании откормочного молодняка. Данный вопрос, который разработан в приложении к Абашскому району, пока еще все же проблематичен и требует глубокого экономического анализа и отработки в разрезе больших регионов, если, конечно, он заинтересует союзные органы.

— Абашский эксперимент явился плодом долгих исканий, принципиальной перестройки стиля и методов организационно-партийной работы, партийного руководства сельским хозяйством. Какие практические мероприятия были проведены во всех сферах деятельности для обеспечения нормальной творческой обстановки и достижения желаемых конечных результатов?

— Руководствуясь ленинским стилем и методом работы, секретари районного комитета партии, члены бюро ежедневно находятся в гуще тружеников района, во взаимодействии с ними ищут правильные пути производства.

Откровенно говоря, те достижения, к которым сейчас пришла партийная организация района, трудно было представить 6 лет назад. Было печальным фактом то, что в экономике района сохранилась только большая слава абашской кукурузы, но

без самой кукурузы. А сегодня речь идет не только об абашской кукурузе или об абашских овощах и эфирноносцах, или о животноводстве, а о славе абашского труженика, его героическом труде.

Абашский район смело смотрит в будущее, планирует масштабные задачи. Стоит лишь отметить, что в ближайшие два года предусматривается увеличить производство молока в 5 раз, мяса в 4 раза. С каждого гектара получить 60 центнеров зерна кукурузы. На фуражную корову получить 3.000 кг молока.

Крутой подъем ведущих отраслей сельскохозяйственного производства в районе базируется на повышении материальной заинтересованности работников отрасли, роста общественных и личных доходов, что позволило коренным образом изменить отношение людей к общественному труду.

Усиление боеспособности первичных партийных организаций, правильный подбор партийных и хозяйственных кадров, их воспитание и распределение дало возможность наиболее эффективно направить активность и творческую инициативу масс.

Наряду с решением острых экономических проблем, районный комитет партии последовательно осуществляет не менее важные социальные задачи. Планомерно ведется благоустройство районного и сельских центров, строятся административные здания, объекты коммунального, учебного и хозяйственного назначения.

Наша цель состоит в том, чтобы каждый человек, который все свои силы и способности отдает делу партии и народа, пользовался бы всеми благами.

— У самой колыбели абашского эксперимента был выдающийся грузинский писатель Константин Лордкипанидзе, который не только пристально наблюдал за всем ходом эксперимента, но и рассказал об этом в своем публицистическом очерке «Что произошло в Абаше», который вышел уже отдельной книжкой и получил широкую известность. Для вас, Гурам Давидович, это не просто литературное произведение, — ведь в нем рассказаны факты вашей повседневной жизни, вашей борьбы, завершившейся истинной победой абашцев. Как вы относитесь к этому произведению К. Лордкипанидзе?

— Отраден сам факт, что наши писатели надолго приезжают в командировку в районы и находятся буквально на переднем крае борьбы за изобилие. Они не стоят в стороне от событий и своим писательским трудом делают достоянием всех наши удачи и недостатки, наши беды и радости.

Отрадно, в частности, для нас, абашцев, то, что такой маститый писатель, как Константин Лордкипанидзе, будучи немолодым человеком, почти два года жил в нашем районе и был не сторонним наблюдателем, а фактически полноправным участником всех наших повседневных дел. Он отобразил в своей книге будни сельского района, создал подлинную хронику районных будней, глубоко разобрался во всех наших делах, сумел увидеть и почувствовать наши перспективы.

Я не перестаю удивляться его огромной любви к грузинской деревне, глубокому знанию ее жизни и сельского хозяй-

ства вообще. Я преклоняюсь перед его безграничной выносливостью и неизмеримой трудоспособностью.

Со свойственной ему прозорливостью большого писателя сумел он увидеть в, казалось бы, обычных делах ростки светлого будущего, проследить колоссальные сдвиги в сознании людей, в их отношении к труду.

Книга создана, она уже есть и сама говорит за себя. Мне трудно, да и, пожалуй, неловко оценивать ее достоинства. Ведь по существу она написана трудом каждого крестьянина, специалиста, партийного и хозяйственного работника нашего района. Думается, что это первая такая книга большого писателя, которая столь созвучна времени, столь своевременно и так полно поднявшая наиболее важные вопросы экономического плана, а также социальные и нравственные проблемы, связанные с сельским хозяйством.

Польза от нее несомненна, она интересна и полезна для многих. Но кто взвесит ту неизмеримую пользу от живого общения Константина Александровича с полеводцами и животноводцами, механизаторами и агрономами, когда его меткое слово, умное и дельное замечание или острая шутка, а порою и гневная отповедь писателя, гражданина заставляли людей иначе, по-новому не только смотреть на жизнь, но и делать ее заново.

Может быть, читателям журнала будет интересна такая деталь. Как известно, в райкомах партии работают три секретаря этого партийного органа. Константин Александрович настолько проникся жизнью нашего района, настолько близко принял к своему большому сердцу все, что нас волнует, все наши заботы и чаяния, что его по праву называли в Абаше «четвертым секретарем».

Длительная командировка писателя в Абашу сейчас уже прервалась. Он отчитался в ней своей книгой. Но и сейчас он довольно часто бывает в «своей» Абаше, продолжает живо интересоваться нашими делами. Он навсегда «прописан» здесь как почетный гражданин города Абаша.

Мы, абашцы, скажу откровенно, в глубине души надеемся, что богатая событиями, поисками и свершениями жизнь вновь позовет Константина Александровича в долгую командировку к нам, в родную ему теперь Абашу, и мы вместе с ним создадим очередной том большой прекрасной книги жизни.

В заключение хотелось бы выразить пожелание и надежду на то, чтобы русский читатель вскоре получил и уже созданную писателем вторую часть книги «Что произошло в Абаше».

Беседу вела Л. БРАЙЛОВСКАЯ

Гурам АСАТИАНИ

ОБЫЧНОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

(ЭСТОНСКО-ГРУЗИНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)

Не буду притворяться, что в эстонской молодой прозе мне все понятно. К сожалению, это не совсем так. Может быть, потому что это — эстонская проза, или потому, что это молодая эстонская проза. А скорее всего оттого, что просто это молодая проза, ибо должен признаться, что вообще в сегодняшней молодой прозе я не все до конца понимаю.

Но, прочитав книгу под названием «Эстонская молодая проза», я все-таки кое-что понял, а именно: что все это очень важно, значительно, по-настоящему серьезно и что, не ведая об этом, не прочти я эту книгу, мое представление о современной **молодой литературе** было бы гораздо беднее.

Я, конечно же, не специалист по эстонской прозе, но в свое время читал Куусберга, Крустена, Красса, Лили Промет, Ветемаа и искренне рад, что у них сегодня достойная смена, что эстонская проза с точки зрения мастерства или, как любят говорить эстонские критики, «культуры литературного мышления», продолжает шагать в авангарде советской литературы.

Так что все разговоры о «задворках Европы», о «провинциализме», «подражательстве» и т. д. (в связи с тем, что делают сегодня молодые эстонцы) лично для меня в корне неприемлемы. Правда, читая эту книгу, испытываешь некоторый «дискомфорт», особенно если ты воспитан преимущественно на традициях классической литературы и прошлого и нынешнего столетий, скажем, таких писателей, как Толстой, Флобер, Томас Манн, Таммсааре, даже Достоевский и Фолкнер. Потому что литература для такого читателя всегда была великой утешительницей. Все равно, в чем бы это утешение ни заключалось, в обретенной ли вере, надежде или в чистых слезах сострадания.

Так вот, такой читатель после прочтения этой книги попадает в несколько затруднительное положение. Потому что он здесь оказывается в новой, непривычной для него роли. Не его

Эстонская молодая проза (сб. рассказов), Таллин, 1978 г.

утешают, не ему открывают выход, а, наоборот, и авторы и герои этой книги как бы от него самого ждут утешения, и ему же предлагают развязать некий не поддающийся их пальцам роковой узел. (Я был приятно удивлен, когда в статьях эстонских литераторов нашел примерно ту же мысль, высказанную другими словами. Значит, это не только мое субъективное ощущение).

Но главное не в этом. Главное в том, что такой читатель, несмотря на его явное замешательство, все-таки не шарахается в сторону. Эффект «недоумения» (констатируемый самой эстонской критикой) не расхолаживает его.

Это одна из тех книг, которые втягивают в себя, в круг своих специфических интересов. Читатель не шарахается именно потому, что он чувствует: все это важно, по-настоящему серьезно.

Важно, во что бы то ни стало, развязать эти узлы. Важно не только для авторов и героев этой книги, но и для него, в общем, казалось бы, «постороннего» человека, т. е. в данном случае иноязычного, инационального читателя. А такое ощущение бывает очень редко.

Внесение элемента описательности в эту статью, видимо, покажется неоправданной роскошью. Но мне очень трудно воздержаться и не сказать несколько слов и о тех частных впечатлениях, которые у меня возникли при чтении этой книги.

Сказать о каждом из авторов отдельно стоит и потому, что бы никто не подумал, как будто я воспринимаю этот сборник как книгу одного писателя. Есть общие тенденции, но художники весьма разные.

Вот, например, Мари Саат. Ее «Тайного пуделя» ни с кем не спутаешь. Это — единственное в своем роде существо, и его «биография» тоже единственная. Я читал в детстве очень веселую книгу, которая называлась «Бобкин день» («От двух до 3 ч. 15 м. махал хвостом» и т. д.).

А это (рассказ М. Саат) невеселое произведение. Трагическое, в сущности, и по-своему мудрое. Глазами собаки увидено то, что глаза человека иногда перестают замечать, а именно, что наша, человеческая «нормальная» жизнь (тот образ жизни, который ведет большое число наших сограждан) страшна своей размеренной нормальностью, полным отсутствием событийности, порыва, взлета и т. д. и что от этого осточертевшего благополучия, тишины, покоя может потянуть куда угодно, даже в тот темный омут, куда попал злосчастный «тайный пудель». Потому что именно там померещились ему начисто отсутствующие в доме его хозяев крупницы человечности.

Протест против такой «нормальности» весьма примечателен.

Такой настрой в самых разных его разновидностях присущ ныне многим писателям, особенно же ближайшим соседям Мари Саат и по территории и по возрасту — молодым литовским прозаикам.

Ян Круусвалл пленил меня остроумием, которое у него не выпирает. И еще внутренней свободой, которая, по-моему, есть характерная черта истинного таланта.

Его «Покойник» — почти анекдот. Но автор не щадит. Он рассказывает о нелепости, об абсурде, но не очень бахвалится тем, что придумал такую потрясающую нелепость.

У него есть страшные констатации:

«Не исключено, что он (Каарел, который исчез, оставив жену и четверых детей) где-то там на дне, и в том месте сейчас купаются люди, наслаждаясь летом, теплой водой».

Яан Круусвалл не настаивает на своем, не убеждает (внешне невозмутим), но чувствуется в нем нечто твердое, основательное, незыблемое.

У Тоомаса Винта меня привлек его особый интерес к суррогатам любви.

В «Воспоминании» такой суррогат возникает оттого, что мужчина эмоционально (духовно) неполноценен. «Нормальный» сухарь сталкивается с удивительной девушкой (которая воспринимает цвета как живые существа) и именно из-за своей неполноценности проходит мимо настоящей любви.

В «Приходе женщины» герой терпит крах в силу отсутствия настоящей воли к совершенному чувственному самоутверждению: только в нем проснулось настоящее чувство, и тут же на него наваливается то, что можно обозначить заменителем любви. Заменитель (для такого существа) оказывается сильнее подлинного.

Очень понравился рассказ Тээта Калласа «Хорошо, что он умер».

Написано тонко, с выдумкой — просто блестяще. Предметом иронии здесь избран круг «интеллектуалов», потерявших вкус к живой, подлинной жизни, а стало быть и к истинному, естественному творческому самоутверждению.

«Чайки» Юло Туулика переносят нас в совершенно иной эмоциональный мир. Здесь рассказано о человеке, истерзанном, отчаявшемся, который, однако, не потерял способность человеческого понимания, участия, жалости даже к тому, с чем в его сознании ассоциативно связалось злое начало.

В коротеньких рассказах Рейна Салури привлекает пыливый взгляд прозаика. Да, именно прозаика, умеющего подмечать тончайшие оттенки жизни, быта, внешнего поведения людей.

Домашний быт у него выписан так живо, что каждая мелочь приобретает самостоятельное значение и вместе с тем работает на общее настроение.

Рассказ «С плеч долой» это — настроение «переполняющей» доброты к ближним (т. е. к своим домочадцам), которое овладевает героем (молодым отцом семейства) как следствие «маленьких радостей» воскресного утра. Первая из этих «радостей» возникает оттого, что проснувшемуся герою удастся «нацепить шлепанцы с первой же попытки».

Однако в эту уютную тишь и благодать внезапно проникает нечто отмеченное знаком страшного неблагополучия. Мир довольства подвергается вторжению со стороны мира нужды, страдания. Правда, вторжение это эфемерно. Все предметы остаются на месте, и все, конечно, пойдет по-прежнему. По-

сторонний элемент выдворен за двери дома благоденствующей семьи. Герою можно вздохнуть с облегчением.

Но маленькие, невинные радости уже потеряли свою привлекательность, и их самостоятельная, независимая от внешнего мира, надежно замкнутая в себе жизнь приобретает какой-то зловещий оттенок.

Рейн Салури прирожденный прозаик, «беллетрист», и, тем не менее, в одном из его рассказов есть великолепный поэтический образ, выдающий его, видимо, вторую натуру. Я имею в виду начальные строки рассказа «Собиратель»:

«Лес просвечивал насквозь. Все деревья стояли сами по себе, редкие, безлистые, голые... Летняя общность, когда кроны были соединены и ветви переплетались, распалась... Стояли лишь одиночные деревья, вздрагивающие от прикосновений северных и восточных ветров».

Такое может увидеть только поэт.

Мне кажется, что этот образ символичен и в литературном смысле. Это в некотором роде эмблема того литературного поколения, к которому принадлежит Салури.

В общем в этой книге многое на меня произвело хорошее впечатление и о многом хочется поделиться детально...

Но я решил особо сказать о трех писателях, которые, на мой взгляд, наиболее ярко выражают некоторые тенденции этой книги, а может быть и всей молодой эстонской литературы, ибо мне показалось, что эти тенденции доведены у них до крайности.

Это:

Арво Вальтон,
Вайно Вахинг,
Мати Уит.

«Петля» Арво Вальтона задает тон всему сборнику и концептуально, и художественно. Петля — это конструкция как в прямом, так и в переносном смысле. В прямом — она представляет собой железное сооружение (огромную западню), которое стоит в голой степи. Путник видит его издалека и очень боится попасть в эту ловушку. Однако, несмотря на страх (или именно в силу этого страха), продолжает двигаться в его сторону и, наконец, попадает...

Получается жуткая ситуация (и для путника и для нас, читателей). Кругом ни души, а он в стальных когтях зловещего чудища.

Лично мне это сооружение чем-то напоминает знаменитую машину Кафки, а еще больше сон, который мне несколько раз снился в детстве (нечто вроде огромного комбайна, который притягивал и душил меня). Видимо, такие сны или видения не редкость и не чистая выдумка. Это характерные для нашего столетия сны, возникшие в недрах реальности, именуемой подсознанием современного человека.

Однако сконструированная Вальтоном машина имеет одно индивидуальное свойство. Она завораживает: путнику постепенно нравится его рабство. Так ему удобнее, так «определеннее» его положение, его участь.

«Человек пощупал трос. В нем было что-то надежное, близкое... Только трос единственный был человеку оковами и опорой, связью и объяснением, действительностью и утешением. Трос не призрак, он осязаем рукой, гладкий стальной трос столетия... он удерживал человека от падения в бездонность ночи, сохранял для него ценную реальность».

Таково самое краткое изложение (с прилагаемыми цитатами) содержания трех одноименных рассказов Арво Вальтона. Они напечатаны не подряд, а вперемешку с его же другими рассказами и проходят через них как «сквозное действие», вернее как сквозной символ, содержащий в себе некий основной смысл.

В самом конце третьего (последнего) рассказа автор отвлекается от беспристрастного изложения и дает оценку описанной ситуации. Здесь он сообщает нам прописные истины в подчеркнуто прописной, тривиальной форме:

«Мы не можем мириться с душевным спокойствием коленопреклоненного... Затоптать, уничтожить нужно покой в душе человека, мы это чувствуем и без объяснений.

...Поэтому мы твердо знаем, что в степи наступит рассвет и путешественник освободит нашего мучимого жаждой страдальца от пут, в которые он случайно попал. И нашу затянувшуюся историю завершит счастливый конец».

Ирония здесь очевидна. В чем ее причина? Наверное, в том, что автор в глубине души не очень верит в предполагаемый счастливый конец. А также не до конца уверен: стоит ли это делать?

Так или иначе, главное в этом рассказе не сказанные (в самом конце) равнодушной скороговоркой слова надежды, не подчеркнуто механическое понимание должного, желаемого, а беспощадная, наиболее впечатляющая, вопиющая в своей парадоксальной самоочевидности констатация факта.

Главный факт «Петли» сконструирован. Но конструкция эта по всей видимости абсолютно реальная, предметно-убедительная и к тому же мастерски снаряженная.

Между прочим, недавно мне пришлось защищать от Альгимантаса Бучиса литовских прозаиков, обвиняемых им в «бытовизме», в «пристрастии к зарисовкам» (с натуры), в «отсутствии всяческого второго плана» (символического) и т. д. А сейчас хочу сказать несколько слов в защиту эстонской молодой прозы от тех критиков (в том числе эстонских), которым претит нечто прямо противоположное, а именно ее «сконструированность».

Это, конечно, не потому, что во мне говорит дух противоречия.

Я за разность. За, по возможности, (насколько это вообще возможно в искусстве) разные пути, разные стили, разную технику.

Разность самооправдана, как субстантивное свойство жизни (а стало быть и настоящего искусства). Кроме этого, она оправдана, как реакция на противоположное.

Склонность к конструированию (в основе которой лежит воля к художественному абстрагированию) в данном случае

оправдана и как противостояние от натурализма, в некое время захлестнувшего огромные участки советской литературы.

Это один из путей, о котором в свое время многие и надолго забыли. И путь этот так же стар и так же много раз испытан, как путь реалистического (в собственном смысле) отображения жизни.

Но это не единственный путь в искусстве. То, что это так, очень хорошо видно у самого Вальтона, творчество которого представлено в этой книге и собственно реалистическими произведениями.

Я против **универсализации**. И в этом убеждении меня укрепляет предложенный самим Вальтоном один по-своему примечательный образ. Перед путником в «Петле» — двадцать дорог. Он же выбирает одну, ту самую, которая приводит к петле, к рабству.

Так, по-моему, и в искусстве любой один путь, любая крайность приводит художника к западне, к самоограничению, а отсюда (как это превосходно сказано в «Петле») один шаг до облюбованного рабства.

Несколько слов о других рассказах Вальтона, в частности о «Похоронном колоколе» и «Мустомяэвской любви». Дело в том, что они лишь по виду реалистичны. В основе же обоих рассказов лежит сконструированная автором коллизия. И в обоих случаях авторский вымысел подкупает блестящим остроумием. Но не только. Остроумный вымысел для Вальтона — способ сгущения красок действительности, оголения противоречий, и главное: именно посредством такого вымысла он выкорчевывает из реальности рациональные зерна — то, что содержится в себе субстантивные свойства бытия.

Надо сказать, что вымысел у него обрастает довольно-таки яркими, острыми, терпкими деталями жизни. Особенно в «Колоколе», где сексуальный акт, описываемый параллельно с раскачиванием погребального колокола (его качает женщина-звонарь, которая лежит под мужчиной), тем не менее живописуется с самыми, что ни есть, натуралистическими подробностями.

И все-таки даже в этом рассказе просвечивает схема. Не знаю, хорошо это или плохо, но автор даже не скрывает своей мысли (хотя и приписывает ее герою): «Человек умер, но жизнь не кончилась, ударяя в погребальный колокол, они сеют новое семя, чтобы оно взшло». Но от этого в моих глазах символ (символическая ситуация) теряет глубину, внутреннюю перспективу, превращаясь в нечто плоское, однозначное.

Несмотря на сочность красок и подробностей, от всего рассказа веет плохо завуалированной умозрительностью.

Вальтон незаурядный мастер, но его мастерство в этом рассказе еще не достигает той вершины, где идея и образ сливаются в единую, живую плоть, где авторская мысль не вычитывается, а внушается, впитывается без заметного (читателю) насилия над материалом.

Читая Вайно Вахинга — его рассказ (а может быть, повесть или маленький роман?) под названием «Актер», я вспомнил слова Теофиля Готье: «Рассудок, который пишет мемуары

«безумия под его диктовку». Точнее, они всплыли в моей памяти, когда я уже дочитывал это произведение. А вначале было очень трудно, и «недоумение» заставляло перечитывать абзацы, чтобы уловить между ними если не логическую, то хотя бы смутную ассоциативную связь. Когда же я прочитал следующее: «Почему он так напряженно думал о вертящейся сцене, было опять-таки непонятно... Я не нашел тех ассоциаций, которые возникли у отца», — это показалось мне приятной солидарностью автора со мной.

Неясность, бессвязность, фрагментарность стиля Вахинга сразу бросаются в глаза после четко выстроенных рассказов Вальтона.

То, что рассказывает его герой, не всегда доходит до читательского разумения и также редко трогает сердце.

Можно было в связи с этим поспорить и с автором (или с героем) с более твердых критических позиций, но он нас обезоруживает, потому что сам спорит с самим собой беспощадным образом (словами отца):

«Я три раза был в кольце окружения, однажды словно белка в колесе кружился, в чащу и обратно, на то же самое место, а ты мне рассказываешь о какой-то неясной дружбе...»

После этого спорить с ним с таких позиций просто бессовестно.

Рана молодого героя открывается (по-человечески понятно) в сущности единственный раз, когда он признается отцу: «Что бы я ни делал, где бы ни бродил, ни буйствовал, ни пил, ни работал, все равно у меня возникает подавленность и только оттого, что я наперед знаю, что день кончится без любви».

И опять-таки сам автор отвечает на это сурово (устаами отца): «Что ты болтаешь о любви, о том, чего ты очень ждешь от других, чуть ли не требуешь... Это не любовь».

— Себялюбие? — спрашивает сын.

— Да, и жалкое себялюбие, убогое».

По моему, Вахинг переключается с вальтоновской «Петлей», когда заставляет говорить Ирину: «Но во всех великих дилетантах было что-то рабское, (они)... всегда больше всего тосковали по рабству».

Что происходит в этом рассказе? Герой вместе со своим старым отцом приезжает в чужой город, чтобы отдохнуть или просто развеяться. На самом деле он ищет «актера». Потом оказывается (насколько я понял), что «актер» это он, и он ищет самого себя. Внешне ничего примечательного не происходит, кроме того, что отец внезапно умирает от инфаркта. Актер продолжает рефлексировать, вспоминать, грезить («Сон стоя»)...

Можно было все это — рассуждения (если их можно так назвать), мелькающие образы, ощущения, ретроспекции, предчувствия, отрывочные описания ощущений — рассматривать просто как проявление аномального сознания, как клиническую патологию. Но это не совсем так, не так просто, ибо сам актер возводит это в другую, более широкую категорию: «Актеры всегда, как в жизни, так и на сцене, были единомышленниками сумасшедших». Понимать это, по всей видимости, надо еще

шире: не «актер», а «артист», т. е. человек искусства, художник.

Что ж, никто сегодня уже не скажет, что это неинтересно, неважно, что это не есть предмет литературы («большой», «высшей», «здоровой» и т. д.), не только потому, что «теперь, — как замечает полушутя Эндель Нирк, — слава богу, кажется, все мы не так уж безнадежно нормальны»*, но и по той причине, что сегодняшнее искусство заставило нас, советских критиков, внимательнее вглядываться в то, что вне нормы, или против нормы, что явно выходит за рамки «среднестатистической» нормальности.

Все это, естественно, сказывается на художественной форме «Актера». Слова Т. Готье мне вспомнились и потому, что там именно рассудок пишет мемуары безумия. Рассудок художника не покидает и автора этой вещи.

Мне даже показалось, что Вахинг все время думает о форме, никогда не перестает думать о ней. Это само по себе неплохо (так, наверное, поступали все мастера). Плохо то, что это заметно.

Я уже сказал о случайных ассоциациях («непонятных») и в принципе не намерен упрекать автора за них. Случайные ассоциации порой приобретают значение прозрения, когда они... поют.

Говоря суше, когда эти непонятные случайности становятся закономерностью, как у Пастернака «Ржакс и нучкаи», значение которых неведомо подавляющему большинству его читателей.

А здесь ни «ручной мяч», ни «тыква», ни «Лёзве и Саава» не приобретают этой обязательности (или, говоря словами Мати Уига, «не заворачивают»).

Это, конечно, частности, но в них мне видится более общий признак.

Конечно, Вахинг тоже мастер и, между прочим, не только «своего дела». В «Актере» он превосходно доказывает, что может не только стенографировать сбивчивый, разорванный поток сознания, но и работать по-старому — «облекать в повествование» свою речь, т. е. делать то, что, по свидетельству эстонских критиков, меньше всего интересуется нынешних молодых писателей.

Так что дело здесь не в уровне формального мастерства, а в чем-то более существенном, внутреннем.

Критики (в частности, эстонские) сегодня все чаще и чаще говорят о духовности.

И в рассказе Вахинга — многое именно о духовной жизни, о жизни духа, много всего, даже чрезмерно. Я не из тех, кому не по сердцу такая чрезмерность.

Но всему этому, на мой взгляд, не хватает одного атрибута духа, самого главного — любви.

И не только «день» героя, но и книга автора кончается «без любви». Речь идет, конечно, не об отсутствии любовной

* Эндель Нирк «О нетрадиционной прозе» («Сирп и вазар», 3/VI-1977).

интриги, но о том отношении к жизни, когда отсутствует «во имя». Хотя, как уже было сказано, и это тоже подмечено самим автором, и не мне ему об этом толковать.

Отсюда такая пустота, зыбкость, отсутствие «основательности», ощущение того, что «жизнь навязана и необходима».

Как художник Вахинг силен жгучей, фанатичной верностью правде. Но ведь цель искусства, творчества, вообще любого духовного действия не только истина, но и добро и прекрасное. А я в этом рассказе не увидел не только реализации этих начал, но и настоящей потребности в них — только лишь проблески, и то «ненастоящей», жажды.

Есть в «Актере» одно место, где происходит вспышка сексуальной откровенности (стр. 116). Читая этот пассаж, я вспомнил сон Свидригайлова (из «Преступления и наказания»). Не столько потому, что они внешне похожи, а скорее потому, что внутренне очень разные.

Мне трудно определить чем? Чем-то таким, что есть во сне Свидригайлова (что, в сущности, и заставляет его убить себя) и что начисто отсутствует в сексуальных галлюцинациях Актера.

Я сужу и упрекаю не автора, меня угнетает действительность, которую он воспроизвел (духовно-эмоциональный мир его героя), ибо я почти целиком уверен в достоверности (и «неконструированности») этой действительности.

Кстати, о любви. Меня поразило, что ни в одном рассказе этой книги я не увидел такую ее разновидность, как любовь к родине (в данном случае к Эстонии), к народу (в данном случае эстонскому). Принимая участие в обсуждении этой книги, я даже вознамерился спросить у молодых эстонских писателей: неужели у вас все в порядке? Неужели это чувство не вселяет в вас тревогу, смятение, ну хотя бы в той же степени, как некоторые интимно-интеллектуальные переживания ваших героев?

«Патриотизм», любовь к родине встречается здесь только в отрицательном контексте. Это вначале мне даже импонировало, потому что такие слова очень часто профанировались в литературе (это я уж знаю по своей, родной). Но неужели для них так и не осталось позитивного контекста?

Неужели слово «патриотизм» в некотором смысле не актуально для вас, дорогие молодые эстонские писатели?

Вот о чем мне хотелось спросить.

Я представитель такой духовной среды, где литература всегда мыслилась как средоточие, как арена непрестанной борьбы за самосохранение, т. е. за сохранение самых совершенных идеалов национального бытия.

Литература тоже война — самая большая, самая честная, самая ожесточенная, самая бескомпромиссная. Это впитано мной с малых лет и навсегда.

Были Столетняя война, Отечественная, после нее говорили о Холодной, а в конце 30-х годов кто-то придумал такое: «Странная война».

Так вот, мне кажется, что нынешние молодые эстонские (и не только эстонские) писатели как-то «странно» ведут свою войну.

И многое из того, что создавалось в последнее время и на эстонском, и на литовском, и на русском, и на грузинском, так и просится быть названным «странной литературой».

Да, именно «странная литература». Может быть, кое-что в ней нарочито отстранено, т. е. манерно, умышленно запутано...

Отстранение — старый прием.

В России и Грузии это культивировалось еще в пору символизма.

Однако отстранение (как прием) в той прозе, о которой сегодня идет речь, присутствует лишь в виде составного элемента, в незначительной, на мой взгляд, дозе.

То, о чем я говорю, не прием, не художественное средство, а нечто гораздо более жизненное, глубинное. Это склад души и ума — отражающий склад самой действительности.

Итак, «странная литература» лично для меня — реальность, возникшая в лоне нашей жизни, времени, эпохи.

Поэтому я за то, чтоб ее принимали всерьез.

Единственное, чего я боюсь и во что очень не хочется верить, это — как бы в основе такой литературы (наподобие той «странной войны») не лежала подсознательная установка (или тем более позиция) на пораженчество.

Я не большой оптимист, но я сильно уважаю эстонскую литературу, очень рассчитываю на эстонских писателей и ни в коем случае не хочу так думать.

Мне кажется, что составители этого сборника (Малленэ и Салури) поступили правильно, когда в конце книги поставили «Голый берег» Мати Уита. Потому что это произведение если не венчает, то во всяком случае многое разрешает в этой книге, ставя точки над многими «и».

Во-первых, в художественном плане: «Голый берег. Ни одной конкретной приметы. Безымянная земля. Безразлично какая страна в средних широтах».

Это ключ к тому художественному стилю, который доминирует в книге.

Во-вторых, такой художественный способ не случаен. Он концептуален по своему происхождению, потому что в той же повести мы читаем: «Ничей человек в ничейной земле, как поется в песне».

Что это: эстонский вариант современной романтической отчужденности от земных, локальных пут? Шаг вперед к полному раскрепощению человеческого духа от «земной обузы» или признание в его немогущности, несостоятельности перед жизнью, перед земным призванием человека, одним словом: хорошо это или плохо?

Может быть, в сравнении с чем-то, хорошо, лучше. Но мне лично страшно с этим примириться. Потому что **после примирения** с этим начинается не новая жизнь, не инобытие духа человеческого, а его **небытие** — «ни вкуса, ни запаха» (как сформулировано самим Уитом).

Повесть Мати Уита я читал с большим внутренним напряжением. Дело в том, что именно в ней раскрылось наконец то, что мне мерещилось во всей книге, начиная с Вальтона и Вахинга. Именно в «Голом берегу» я почувствовал дошедшую до

крайности жажду не просто любви (нормальной, элементарной), но великую тоску о настоящей любви, то есть о любви к людям, к ближнему, к человечеству и, что в данном случае особенно знаменательно, о любви к родине.

Здесь это — как постоянная скрытая тема, которая, однако ж, временами вырывается наружу. Сначала мы читаем такое: «Кое-как оконченный университет, неверная жена, **неопределенность** понятия нации, испорченные зубы»... и т. д. (герой характеризует себя). Затем: «Что может знать какой-то редактор телевидения о нашем летнем празднестве, о нашей великой **жажде любви**. Этого ни один нормальный человек не в силах понять».

Линия «нации» и линия «любви» постепенно стягиваются в один узел. И вот под конец все как будто становится на место: «Я узнавал свою родину. Завтра я смогу сказать, что вчера видел Эстонию, за которую боролись, умирали, писали, мечтали, предавали, выходили замуж, иронизировали, возделывали поля, сходили с ума, рожали детей, занимались обновлением языка и искусством кино. За которую жили».

Правда, я вначале был обманут, приняв все это за чистую монету, не ведая, что здесь вкраплена цитата из другого произведения и что Уит ее пародирует. Иронию-то я сразу уловил, но не знал про ее скрытую технику. Однако, даже узнав об этом, я не могу избавиться от чувства трагизма, овладевшего мной при первом чтении (потом я несколько раз перечитывал всю страницу).

Следует ли здесь морализировать? Вряд ли.

Никто, по-моему, так хорошо и так точно не знает, в чем причины той беды, того «порока», который разъедает нынешнюю молодую эстонскую прозу, как сами молодые эстонские прозаики, не только Вахинг и Уит, но все без исключения.

При обсуждении книги (на эстонском совете, в ноябре 1978 г.) выступивший под конец Арво Вальтон спросил у своих русских коллег: «Почему вас удивляет, что эстонская литература есть эстонская литература? Мы же не удивляемся тому, что, например, русская есть русская?»

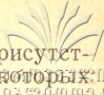
Эту литературу, в самом деле, с другой не спутаешь. Только не по тем, по-моему, признакам, которые обычно ей приписываются.

О. Йыги пишет: «Разве не отмечалась иногда в связи даже с новейшей эстонской литературой ее известная холодность».

Рейн Салури, цитируя О. Йыга, сам еще больше сгущает краски: «Чуть ли не каждая вторая статья об эстонской литературе полна намеков на холодную сконструированность литературы».

Итак, «холодность» и «сконструированность»... Я не могу разделить такой взгляд.

Во-первых, о какой «холодности» можно говорить в связи с «Актером» или «Голым берегом», где все горит и жжет?... И во многих других произведениях этой книги внешняя сдержанность очень часто лишь форма, которая подчеркивает внутренние метания.



«Сконструированность» в этой книге безусловно присутствует, но лишь в узком смысле, как признак техники некоторых (правда, довольно большого числа) произведений. По большому же счету, здесь главное и существенное — не конструирование, а то, что все это (или почти все это) в действительности есть литература беспощадно правдивых констатаций.

Вот что, на мой взгляд, является действительно отличительной чертой молодой эстонской прозы.

И еще. Мне кажется, что иллюзия «холодности» у многих критиков этой литературы возникает под воздействием иронии — почти постоянной в этой книге тенденции к иронизированию.

Но ирония в такой прозе обязательна. Без иронии современную молодую эстонскую прозу просто нельзя понять, ибо это — главный стержень ее интеллектуальности, я бы сказал, ее интеллигентности в широком и хорошем смысле этого слова.

Ирония, конечно, и здесь не располагает к «теплу», но она не всегда и не обязательно «холодна». Во многих своих разновидностях (в лучших рассказах книги) она как раз выступает пылкой, исполненной горячего дыхания страсти и мысли, нередко обжигающей нас, не позволяющей предаваться равнодушному созерцанию вырисовывающегося из этой книги мира.

Как прием ирония мне представляется самой характерной чертой новой эстонской интеллектуальной прозы.

Самое же большое достоинство психологической установки большинства создающих ее художников я вижу в абсолютной их художественной честности, не позволяющей малейшего отклонения в сторону сглаживания, прихорашивания, смягчения.

Чего же боле?!

Как будто большего и невозможно требовать от одной книги. Но тут у такого, как я, читателя всплывает в памяти блоковское бессмертное, непреходящее «Во имя», и все разбросанные в моей статье вопросы, все притязания к авторам этого сборника остаются в силе. Потому что сила этой книги и в том, что она возбуждает новую жажду, новые ожидания, заставляет ждать большего от ее создателей.

* * *

О современной грузинской прозе мне по понятным причинам приходилось думать и писать гораздо чаще, чем о любой другой. Поэтому на этот раз сознательно ограничу себя: коснусь лишь тех явлений, которые, на мой взгляд, созвучны или сопоставимы с привлекшими мое внимание тенденциями литовской и эстонской новой прозы.

Начну не с молодых, а с Арчила Сулакаури, которому недавно исполнилось 50 лет, ибо традиция «ничейной земли» в грузинской «новой прозе», так же как и традиция «отклонения от нормы», берет начало именно от него.

В конце пятидесятых годов появился его рассказ «Волны стремятся к берегу», где все происходило именно на безымянном берегу, у которого также не было «ни одной конкретной приметы». Рассказ сразу «зазвучал» и впоследствии часто

вспоминался критиками (в том числе и мной), как наиболее характерный образец абстрагированной прозы 50—60-х годов, в котором прием символизации играл доминирующую роль.

Однако здесь сразу надо сказать о двух специфических обстоятельствах. Во-первых, параллельно с Арчилом Сулакаури (почти одновременно) выступили прозаики, в поэтике которых главенствующими были не абстрагирование и символизация, а как раз «верность натуре» — колорит, сочные краски живого предметного мира, т. е., говоря условно, не «эстонский», а «литовский» вариант художественного видения и выражения действительности.

Во-вторых, эта традиция не развилась в чистом виде даже в творчестве тех художников, которые вначале потянулись в ее сторону. Исключение составляют, пожалуй, Эрлом Ахвледзани с его странными «Сказками» и Владимир Сихарулидзе — автор нашумевшего у нас рассказа «Десять свидетелей».

Сам Арчил Сулакаури в своих поздних произведениях — в первой части романа «Золотая рыбка» и в целом ряде рассказов — лишь частично прибегает к способу конструирования символов, больше заботясь о собственно реалистическом плане, в частности о многостороннем раскрытии характеров.

Весьма примечателен в этом смысле пример Чабуа Амирджиби. В его романе «Дата Туташкия» есть несколько глав, которые в основном построены на иносказании, сюжет их целиком сконструирован и содержит в себе всячески акцентированный переносный смысл.

Такова, в частности, та глава I части романа, в которой действие происходит в сельской больнице. Характерно, что это, вместе с тем, одна из самых психологически насыщенных глав.

Однако, в целом концепция этого романа зиждется не на сугубо условных (иносказательных) коллизиях, а на широко отображенном богатейшем жизненном материале, сохранившем в этом произведении свою свежесть и достоверность.

В своей последней крупной вещи — повести «Лука» Арчил Сулакаури сделал новый и весьма знаменательный, на мой взгляд, шаг, вплотную приблизив друг к другу мир символики и мир реалистической образности.

В новом же (втором) романе Отара Чиладзе «Каждый, кто встретит меня» принцип взаимопроникновения символа и образа стал определяющим принципом поэтики.

Одним словом, если проследить главные художественные тенденции грузинской прозы с конца 50-х годов до наших дней, то станет ясно: два выделенных нами потока не только мирно сосуществовали (на равных правах), но и часто взаимно пересекались. А в самое последнее время (особенно в романе О. Чиладзе) мы стали свидетелями их органичного слияния.

В последней повести А. Сулакаури есть один мотив, одна сюжетная линия, с которой лично для меня связано возникновение той тенденции, определенной мною (и, видимо, не совсем точно) «отклонением от нормы».

Носителем этого «отклонения» здесь выступает заключенная в дом для душевнобольных девочка по имени Мтвариса («что по-грузински значит «дочь луны»).

Должен признаться, что я в свое время недооценил значение этого образа. Чисто вкусовые побуждения заставили меня усомниться в органичной связи этого образа с мотивом, дождавшимся мне искусственным, надуманным.

Сейчас легче увидеть, что возникновение этого образа, несущего в повести особую нагрузку (именно Мтвариса открывает глаза юному герою произведения, отчаявшемуся от непосильных для его детской психики житейских противоречий, на мир истинных нравственных ценностей), было далеко не случайностью и не прихотью одного художника.

Тенденция выхода за рамки нормы (среднестатистической нормальности) со временем приобрела довольно четко очерченные формы.

Характерно, что такой интерес (к аномальному, исключительному) появился в творчестве писателей, очень не похожих друг на друга.

Исключительный, единственный в своем роде, ни на кого (из «нормальных») не похожий герой стоит в центре рассказов Тамаза Бибилури («Маска»), Георгия Баканидзе («Сорок дней и сорок ночей»), Мераба Абашидзе («Факелы, Квазимодо!»).

В первом это — деревенский шут, нечто среднее между юродивым и скоморохом. Во втором — мальчишка, не сумевший свыкнуться с «нормальной» обстановкой ремесленного училища-интерната, в третьем — взорвавшийся карлик.

Как я сказал, они стоят в центре этих рассказов не только в том смысле, что это — главные их герои, но и в том, что вся окружающая действительность фактически увидена их глазами, и увиденное раскрывается в самых неожиданных красках.

Так, бежавший из интерната мальчик на пути к родному дому (куда ему, естественно, приходится пробираться тайком на буферах товарных поездов) встречает такие «знаки внимания» к себе, которые приводят в ужас.

Благоразумие (взрослых, пытавшихся сбросить мальчика с ночных поездов) оборачивается чудовищной жестокостью.

«Точка зрения» карлика (из «Квазимодо») позволяет ему видеть скрытую для других подноготную человеческих взаимоотношений с такими страшными деталями, от которых очень легко стать убежденным мизантропом.

Однако, в обоих случаях озлобление героев имеет своей основой не их черствость и пустоту, а безответную потребность в чуткости, участии, любви — т. е. истинно человеческом отношении.

Болезненная ранимость открывает им (этим героям) глаза на трагическое отсутствие этих элементов в том объеме, который необходим для гармонического развития подобных им по складу личностей.

Их терзает не столько порыв мстительности, жажда отмщения за пережитое, сколько неистраченный, нереализованный запас человеколюбия, заглохшего под тяжестью внешнего давления.

Особенно выпукло это ощущается в «Маске» Тамаза Бибилури, где герой, под конец саморазоблачаясь, изливает всю меру долго и тщательно скрываемой от посторонних глаз нежно-

сти. Grimасы шута стираются, и на их месте проступают ясные черты человечности.

Таким образом, «отклонение от нормы» в грузинской прозе стало не способом отчуждения от нормальной этики или полного разрыва со здоровыми устоями нравственности, а чем-то вроде новой призмы, через которую четче увидена нехватка этих нравственных ценностей в окружающей «нормальной» реальности.

Мы сослались на три произведения, которые (это следует повторить) очень не похожи друг на друга по своей стилистике.

Степень «отклонения» в них тоже не одинакова, но последнее в этих рассказах прослеживается как тенденция, как своеобразный критерий для оценки жизни, для суда над ней, над социально-нравственным поведением людей.

Самым же совершенным и значительным выражением грузинского варианта этой тенденции мне представляется рассказ безвременно погибшего молодого писателя Джемала Топуридзе «Диоскурия», опубликованный (посмертно) в одном из прошлогодних номеров «Цискари» и недавно отмеченный премией Союза писателей Грузии как лучший рассказ года.

Отклонение от нормы здесь (уже недвусмысленно) связано с патологией. Герой рассказа несет ее в своих генах.

Такое, конечно, не ново для литературы, и в советской литературной науке очень много жестких слов сказано об «упоении безумием», о «болезненном интересе к нездоровому» и т. д. и т. п.

Но в данном случае все эти слова сразу отпадают как нечто кощунственно неуместное. Потому что — какое там «упоение» и «интерес», когда перед нами — потрясающая исповедь отчаявшегося от ничем не заслуженной кары, раздавленного, бьющегося в смертельных судорогах юного сердца.

И к каким учебникам или учениям можно отослать это доверительно, бесстрашно исповедующееся нам существо за благородными советами, когда на наших глазах производятся убийственно точные удары в-его сторону.

Вот один из них:

Вернувшийся из школы подросток видит тело повешенного отца. Он взбирается на это уже безжизненное туловище, чтобы дотянуться до веревки, но не дотягивается и в какой-то момент, от сообщенной отчаянным броском инерции, два тела (отца и сына) вместе раскачиваются под потолком.

Мне трудно писать, потому что я хорошо знал автора этой повести и не подозревал, что он нес в своем сердце такой ад. Не знаю, напечатал бы он сам этот рассказ (во всяком случае, так скоро, как это было сделано уже без его ведома...). Но то, что он сообщил своим будущим читателям, не просто ошеломляет, а заставляет по-новому настроиться, под новым углом зрения рассмотреть всю нашу молодую литературу.

«Приходилось ли кому-нибудь из вас вот так раскачивать-ся на теле своего отца?».

Это, конечно, тоже «ирония». Но по своему составу она не лезет ни в одну из старых ее классификаций. Прежде всего ничего общего не имеет с т. н. романтической иронией. Потому

что здесь налицо нечто абсолютно реальное, жизненно-достоверное, насколько вообще это возможно и мыслимо в художественной литературе.

Появление рассказа Джемала Топуридзе было в какой-то мере (литературно) подготовлено, что я уже постарался показать. Но именно этот рассказ должен стать той межой, за которой мы уже не можем по-старому относиться к «второстепенным» тенденциям нашей литературы. Ничто, никакие благие намерения, ни одно благоразумное соображение не может уже убедить нас, что это не самое главное, не «магистральная линия», не...

Потому что здесь речь идет о молодежи, о молодом поколении, о духовной реальности молодого человека наших дней, который, несмотря на исключительность своего психического склада и своей участи, все-таки — плоть от плоти этого поколения.

Исключительность здесь выступает как антиномия нетипичности, а именно среднестатистичности, раскрывая перед нами то, чем реально чревата наша действительность.

Я не могу пересказать содержание рассказа, потому что его нельзя переписывать другими словами и словосочетаниями, другим ритмом и интонацией.

Напомню только, что герой гибнет при полном, казалось бы, внешнем благополучии. Гибнет в аварии. Не так, как герой «Певчего дрозда» Отара Иоселвани, попавший в праздное городское коловращение, а как отмеченная роком личность, на которую все время надвигается катастрофа.

Сколько людей любило Тбилиси, его веселье, задор, бесшабашность...

Герой Джемала Топуридзе тоже внешне веселый парень с юмором, с «изюминкой», но посмотрите, многоуважаемые любители тбилисского колорита, как, чем, с каким сердцем живет один из юных граждан этого города.

Не поймут счастливые люди... в окне.

Героя все время кто-то окликает.

Сейчас я вспомнил, что давал автору и его друзьям читать машинописный текст рассказа молодого литовского писателя Климаса, в котором описывается один день вильнюсских алкоголиков.

Помню, как им понравился этот рассказ, как все смеялись. Мне кажется, что сегодня я лучше понимаю причину его веселого смеха.

У Климаса все это выглядит легче, нет, не легко, а именно **легче**.

Взаимоотношения отца и сына мне напомнили также «Актера» Вайно Вахинга некоторыми оттенками. И иронии в этом рассказе немало, не только особой, но и в ее обыкновенной разновидности. Я не в силах передать. Но при чтении обратите внимание на тот эпизод, когда дедушка героя сразу после похорон отца венчается (да, буквально «венчается») с какой-то случайной старухой.

Помните романтическое венчание Мери Галактиона? Так вот полюбопытствуйте, прочитайте про еще одно, тбилисское.

Все рушится вокруг героя Джемала Топуридзе. Но кто главный враг, кто архипалач? Не только гены. Все дорогое его сердцу подвержено уничтожению или поражению от пошлости от гнусного бессердечия. Так погибает, в частности, его последняя любовь — родной дядя, приютивший бежавших от взбесившегося в своем животном эгоизме деда. Пошлость в последнем эпизоде его биографии предстает в своем частном виде, как «подвальная», но за ступенями подвала стоит тень другой, более страшной и универсальной.

Что ж, наверное спросят — нет (неужели!) такой силы в мире, природе, обществе, которая могла бы приостановить все это наваждение?

Есть, конечно! К великому нашему счастью, есть: например, этот рассказ Джемала Топуридзе, исполненный светлой, могучей, беззаветной любви к людям, бесконечной влюбленности во все чистое, истинно человеческое, во все, что не может жить в пошлости и лжи, что не только непримиримо — физически и несовместимо с ними. Ведь герой этого рассказа, несмотря на его страшный недуг, делает все (и не в пределах своих возможностей, но фактически переступая через эти пределы) для другого страдающего человека, ведь в сущности весь смысл его сознательного движения, когда он начинает по-настоящему двигаться (активно действовать), в том, чтобы спасти чужую жизнь, и погибает он при исполнении своего человеческого призвания (а не «долга», потому что человек в его положении субъективно никому ничего уже не «должен»).

Как бы мне, говоря об этом рассказе, не сойти на рельсы сентиментально-назидательных тирад, как бы никто не подумал, что речь идет о чем-то вроде рождественского подслащенного рассказа с морализацией «в пользу бедных».

Ни капли меда. Самая горькая правда, ничем не прикрашенная, ничем не разбавленная.

Правда и все!.. Вот единственный умопостижимый принцип этого рассказа.

Мастерство, манера выражения, изобразительность, язык — все это, конечно, участвует, работает, делает свое дело, но как-то незаметно, на заднем, невидимом для нас плане.

От деловитости, «художественности», выдумки — ни следа.

Хотя все рассказанное здесь (верьте мне!) отнюдь не документально и лишь в художественно трансформированном виде воспроизводит настоящую жизнь.

Отчего же от всего этого кошмара и полной, казалось бы, безысходности (положения, в которое попал один, по крайней мере, наш современник) все-таки веет каким-то теплым, родным (в широком человеческом смысле этого слова) дыханием?

Трудно сказать. Много, наверное, способствует такому ощущению. Но мне все-таки кажется, что здесь наиболее существенно одно почти невероятное обстоятельство.

Ничем не облегченная безысходность одной жизни, одной судьбы оборачивается (в силу особого внутреннего склада их носителя) повелительным, непререкаемым указанием на единственный выход.

Как же определить последний? По-старому — это, конечно, любовь, любовь к ближнему, любовь к правде, любовь к справедливости, любовь к страждущим...

По-новому? В сущности — то же самое, но с некоторым акцентом на обратную сторону заповеди: жгучая, неистребимая ненависть к нелюбви, к неправде, к неистине — к неистинной любви.

Рассказ Джемала Топуридзе с точки зрения стиля можно толковать по-разному. Некоторым он может показаться «сентиментальным», другие обратят внимание на «поток сознания», третьи, возможно, найдут даже элементы «параболической» структуры, четвертым бросятся в глаза натуралистические тенденции.

Для меня это героическая литература в собственном, действительном, современном смысле.

Таков, на мой взгляд, грузинский вариант «отклонения от нормы» в его совершенном, конечно, но уже не желаемом, уже не только должном (по предписанию критиков и моралистов), а в совершенно реальном, художественно достоверном проявлении.

И это знамение времени, ибо рассказ Джемала Топуридзе — органичная часть целого, именуемого грузинской молодой литературой 70-х годов.

Эту литературу двигает вперед не ласкающий слух и утешающий сердце голос умеренно-благоразумной полуистины, а пламенный зов не терпящей никаких примесей, целомудренно бескомпромиссной, чистой правды.

Мне уже приходилось констатировать, что для этого поколения главное не в прокламировании уже открытых истин, а в поисках неоткрытого, не в проповеди, а в углублении, анализе и что большинство его представителей (как и в Эстонии, и Литве) самую большую ценность в литературе — больше прекрасного, больше добра — видит именно в правде, в абсолютной правдивости утверждаемого им мира.

Здесь следует добавить, что (для лучших, ярчайших, талантливейших из них) правдивость, по извечной логике искусства, в действительности оказывается средством добывания неподдельных крупиц добра и красоты — из недр самой жизни.

Все это говорит о дальнейшем развитии (и вширь, и вглубь) концепции гуманизма в современной грузинской литературе, о дальнейшем приближении его к той форме гуманистического миропонимания, которую Томас Манн определил такой формулой: «Проникающий в глубины и свободный от прекраснотушия, прошедший через все адские бездны страдания и знаний новый гуманизм».

ЭПИЧЕСКАЯ ПРИВИВКА

(О СТИХАХ МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА)

«Сердцу больно, но сердца не жаль...»

Стихи и переводы Михаила Синельникова в последние годы часто появлялись на страницах журналов и переводных сборников. Наконец, в 1976 году вышел первый поэтический сборник поэта — «Облака и птицы» (издательство «Советский писатель»). Этой совокупности достаточно для того, чтобы высказать некоторые суждения о творчестве поэта в целом.

* * *

Счастлив и ценен тот переводчик, который и знает, и любит культуру народов, чьих поэтов он переводит. Иногда эти чувства проявляются даже в преклонении перед оригиналом, в сознании относительности своего переводческого труда и успеха:

Слово предков вернулось в природу,
 Словно в кварц превратился народ.
 Не дано удержать переводу
 Огнекрылое пение вод.

(«Грабар»).

Грузия и Средняя Азия— вот два региона, два субконтинента, влияние которых на творчество Михаила Синельникова очевидно и неоспоримо. Это закономерно: в Средней Азии прошло его детство, подолгу живал он и в Грузии, где обрел дорогих своему сердцу друзей. Оба края глубоко проникли и в его собственное поэтическое сознание, закрепились в ткани многих его оригинальных стихов:

...Слишком памятны долгие версты
 До привала в киргизском селе...
 И опять волоокие звезды,
 Огнеглазые, грузные звезды
 Пригибаются к самой земле.

¹ В 1979 году во Фрунзе вышла в свет вторая книга стихов Михаила Синельникова «Киргизская рапсодия».

Легкий месяц в реке шевелится,
И собака сбегает напиться.
Пастухи о ночлеге поют.
И побрякивающие копытца
Бесконечного стада бредут.



(«Возвращение стад»).

Или: Глубокий погреб той грузинской речи,
Где никнет хмель и глохнет лития,
Уходят улывающие свечи
За цветочные пятна бытия.

И в этом закипающем прибое
Еще сольются в пенный океан
Персидское лилово-голубое
И серебро гиперборейских стран.

(«Шарден в Тифлисе»).

Это попытка собственного сознания и переосмысления национального духа народов, проникновение в его стихию, известная очарованность им (впрочем, далекая от сентиментальности) — одна из заметнейших черт поэтики М. Синельникова, ее своего рода интернационализм.

Стихи Синельникова медитативны, но не переусложнены; им свойственна словарная живописность. По духовному строю поэзии, по преобладанию в ней философского начала и по ряду воплотившихся в ней мыслей Синельников выказывает близость к таким сложным и глубоко размышляющим поэтам, как Н. Заболоцкий и А. Тарковский (с последним его сближают также некоторые стилистические и интонационные параллели, а иногда и лексическая перекличка). Для Синельникова характерна заглубленность в неоднозначность слова и в символичность вещи, перерастающих свое бытовое, значение; чтение его стихов подобно пробуждению некоего семантического букета — слова расправляют нежные лепестки своих смыслов:

Так жадно дышит выжженная глина,
Как будто бы живое существо.
...И летописи глянцовой тетради
Переплелись в плотные тома.
...Уставших глин бессмертное смешенье
Сырой землей становится опять.

(«Глиняная летопись»)

и: ...По забытью и по найтью
Беги, истории звено;
Тянись витой и гибкой нитью,
Крутись, крутись, веретено.

(«Ткацкий цех»)

Но наиболее емкой абстрактно-вещной категорией у Синельникова является небо. Обостренное чувство неба — стимулирующей мозговую деятельность субстанции — также роднит его с Заболоцким и Тарковским¹. Видимо, не случайно и сам сборник получил название — «Облака и птицы». Те или иные небесные атрибуты встречаются едва ли не в каждом стихе: солнце, авиация, птицы, чаще — звезды, еще чаще — облака... Небо как бы неразлучно с поэтом:

В синий сон приходят сны за снами,
Только — за плечом и впереди,
Выше или ниже, небо с нами,
И вдали, и рядом, и в груди.

(«Небо»).

Закрой глаза! Полнеба — за порогом,
Вся в радугах подзорная труба...

(«Шарден в Тифлисе»).

— Вы, облака!
Ваш вывод непреложен,
Ваш выводок рисует бытие...
Перед глазами всех — одно и то же,
И каждый видит что-нибудь свое.
И в клочьях тучи — лунная долина,
И стали тучи почвою сырой.
И вновь природа — облако и глина,
И небо пахнет бурей и землей.

(«Облака»).

Подобно небу, простором дышит и степь. Степь у Синельникова есть проявление того же небоцентризма — зеркальное отражение преобразуется в ипостась:

Холмы споткнулись, и упали,
И отбежали облака.
И в небе растворились дали.
Равнина стала велика...

(«Степь»).

Однако, в отличие от Заболоцкого и Тарковского, поэзия Синельникова в гораздо большей степени ориентирована вовне автора. Эта отрешенность от своего «я», отношение к себе не как к объекту своих стихов, а лишь как к средству, голосу — одна из доминант творчества поэта. (Ввиду крайней степени выражен-

¹ С той разницей, что у двух последних восприятие неба скорее космогонично, чем астрономично, а у Синельникова же наоборот. Интересно, что как для Заболоцкого, так и для Тарковского астрономия явилась одним из формообразующих начал личности (на первого — уже в зрелом возрасте — сильно повлияли личность и мысли К. Э. Циолковского, на второго — в детстве — Анжелло Секки).

ности этого явления у Синельникова его можно особо обозначить — антисфрагидой, например¹).
Заболоцкий пишет:

обознач
964935940
3023010933

И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

(«Вчера, о смерти размышляя...»).

М. Синельников подхватывает этот тезис, развивает его и смыкает с тютчевско-манделштамовской символикой **камня**:

...Этот город распался на звенья,
Чтобы их подобрать и срастить,
Я ступенчатой мыслью творенья
Проведу путеводную нить.

Все опять поднимается в гору,
Продолжаются те же пиры.
Здесь, наверно, столетий за сорок
Был я камнем, упавшим с горы.

(«Пробуждение»).

Слитность с природой, невыделенность в ней представляется поэту мировоззренческим идеалом. Проникаясь природой, воодушевляясь ею, он не уточняет своего в ней места и не одушевляет ее — приемлет как есть.

Таким образом, **бытие внутри** природы поэтически реализуется через восторженный **взгляд извне** ее, усиленный самоустранением авторской личности. Стихотворений, написанных от первого лица, поразительно мало в творчестве Синельникова, причем местоимение «я» не всегда отождествимо с поэтом (иногда он отмежевывается от этого «я» с помощью недвусмысленных заголовков, например, «Вечерняя песня охотника»). В собственной жизни поэта словно бы ничего не происходит, никаких событий, и лишь изредка его внешняя жизнь врывается в его стихи. Как правило, импульсом к написанию «авторизованных» стихов служат сильные эмоциональные потрясения. Например, смерть друга:²

¹ Сфрагида (по-гречески печать) — феномен упоминания в стихотворении имени его автора (например: «Разрешите представиться, Маяковский!» и т. п.).

² По множеству примет здесь легко угадывается адресат — тбилисский поэт Александр Цыбулевский, скончавшийся летом 1975 года.



Все думал я, как стану ювелиром,
 Как юность изменившую верну
 Охрипшим трубам и усталым лирам,
 Расплавлю в тигле тонкую струну.

Хотел писать, но почерк стал размашист,
 И лучший друг мне гибелью помог,
 И для земли копившаяся тяжесть
 Ушла в тот час, как почва из-под ног.

Другой пример — стихотворение «Встреча», открывающее книгу (самое раннее из вошедших в нее):

Не засижусь и не оставлю знака,
 А постучусь и заявлюсь как есть.
 Случайный гость, рассеянный зевака,
 Я вам принес одну благую весть.

Но временами помнится и снится,
 Что в детстве так бездумно-озорно
 Я бросил в щель прогнувшей половицы
 Гранатовое твердое зерно.

Померкло солнце. Потускнели лица.
 Но вижу я, не поднимая век, —
 Древесный ствол шумит и шевелится,
 И крышу дома трогает побег.

Все это подводит меня к основному тезису и пафосу этих заметок о творчестве Михаила Синельникова. Перед нами явление, не вполне обычное, несколько аномальное, быть может. Сущность этого явления — отчетливо выраженное эпическое начало. Да, перед нами именно эпос, хотя размеры отдельных стихотворений — для эпоса — и не столь велики. Эпическая тяга проявляется и в небоцентризме и просторолюбии, в самоотрешенности и живописности словаря. По аналогии с «лирическими отступлениями» стихи Синельникова так и хочется называть «эпическими отступлениями» (или, возможно, «эпическими вступлениями»), когда бы они не были столь самостоятельны и целостны. При этом средства эпической реализации стиха здесь чисто лирические, и в этой антиномии, на мой взгляд, кроется главный диалектический движитель поэзии Синельникова.

Пожалуй, наибольшей эпичностью обладает группа киргизских стихов, и среди них особенно — «Топрак-Кале — крепость праха» и «Кочевник», причем в последнем на эпос работают и некоторые формальные моменты (силлабическая основа, особенности рифмовки). Стих словно бы ничем не обуздан, хотя и являет собой не примитивное запечатление всего того, что можно увидеть с покачивающейся высоты верблюда; это не «вольная былина о смутно пережитом дне», а философская ретроспектива жизни. Здесь нет динамического сюжета, нет ан-

тitezы, нет противоборства сил. Зато здесь изобилуют живописность, даже восточная цветистость языка, красочность эпитетов, наконец, ассоциативное сопряжение поэтических образцов, каждая из которых совпадает со строкой. То есть, напомню, эпос у Синельникова воплощается средствами, более характерными для лирики.

Оригинален прием образования эпитетов, когда рядом стоящие предметы словно меняются своими обыденными определениями:

...Прямо передо мной каменные облака.
А над моей головой воздушные горы стоят.

Вообще М. Синельников любит эпитеты, я бы даже сказал, питает к ним слабость. Предмет для него как бы еще «не готов», если не подкреплён, не усилен с помощью эпитета:

...На волнах неизгладимых
Из печального стекла
Рыб зеленых и незримых
Стекловидные тела.

(«Стекло»).

И хотя эпитеты у него, как правило, удачны и действительно работают на предмет, есть все же в этой тенденции нечто декоративное, украшательское. Отсюда, отчасти, и то впечатление **поэтической избыточности**, которое иногда производят стихи М. Синельникова. Это же впечатление усиливает изобилие метафор и сравнений, прекрасных самих по себе, но почти ничего не дающих стиху (хотя и не портящих его). Есть у Синельникова и злоупотребления родительным падежом:

...И лишь табун толчков сердцебиенья...

(«Конский глаз»).

Здесь тостовая цветистость, в общем-то, как мы видели, органичная для Синельникова, перешла свой предел и обернулась своей противоположностью — каким-то немецким гинитивом¹.

В этих заметках, пожалуй, не стоит подробно говорить о частных — заметных, но не дирижирующих — элементах поэтики М. Синельникова, например, о его корнелиюбии и любви к звучным, малопривычным именам предметов (барит, вагранка, тюркские и грузинские слова, частящие в его стихах, — топрак, мазар, аламан-байга, чонгури и т. п.). Не стоит здесь задерживаться и на отдельных академических погрешностях стихов (в частности, на вольностях со внутренними ударениями слов, что, впрочем, во многом оправдано эпической напевностью стихов). Я постарался лишь наметить два основных — друг с другом связанных — стержня его поэзии: и эпическое начало и глубокая сродность, сращенность с той инонациональной почвой, которую он воспроизводит и воспеваает, как современный русский поэт, — их осмысленный интернационализм.

¹ Genetiv — родительный падеж.

Оба эти положения, видимо, хорошо известны и их адресату М. Синельникову, коль скоро они же звучат и в его собственной формулировке — в одном из лучших его стихотворений

СУМЕРКИ

С душой вечерней и прохладной кровью
Бреду в московских сумерках домой.
Но продвигаюсь мысленно к верховью
Реки хевсурской пенно-дымовой.

Над головой что ни утес, то — кубок
С дымящим сусликом дыблящихся гроз.
Могучий дух! И крепости обрубок
К туманности эпической прирос.

Но в час, когда переселялся эпос
В лирические наши города,
Торжествовала твердых рек свирепость,
Жестокость камня и коварство льда.

Закрыв глаза — стал горячей и звонче
Сырой напев гремящего ключа,
И мчится речка хищной стаей гончей,
Обламывая ребра и рыча.

Кусается, прыжками сносит бревна
Парящего над пропастью моста.
Ни в чем, ни в чем природа не виновна,
Земля прекрасна. И река чиста!

* * *

Таким образом, молодое творчество Михаила Синельникова знаменует своего рода эпическую прививку к нашей современной поэзии, со смертью Николая Заболоцкого утратившей своего последнего эпического поэта.

«В УСИЛИИ К БУДУЩЕМУ ВРЕМЕНИ...»

(ФИЛОСОФИЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА)

Андрею Платонову в этом году исполнилось бы восемьдесят лет. Но уже 28 лет его нет среди живых. Остались тексты, удивительная проза, все более влекущая к себе и читателей, и исследователей. Сила этого влечения во многом определяется той загадочной силой смысла, которая движет поражающую всех вязь платоновских мыслеслов. Мир Платонова пронизывает вступающего в него токами постоянных, почти навязчивых мотивов, образов, настроений. Даже не угадывая до конца их значения, нельзя не почувствовать, что определяет их какая-то единая мысль писателя. «Мои идеалы однообразны и постоянны. Я не буду литератором, если буду излагать только свои неизменные идеи. Меня не станут читать. Я должен опошлять и варьировать свои мысли, чтобы получились приемлемые произведения. Именно — опошлять! А если бы я давал в сочинения действительную кровь своего мозга, их бы не стали печатать»¹. Не опознав этих «однообразных и постоянных идеалов» художника, мы будем обречены оставаться в поверхностном слое его текста, довольствуясь невнятным мерцанием его глубины.

Откройте любой его рассказ или повесть, или почти любой. Вас вскоре пронзит печальный звук, томящийся над землей Платонова. На этой земле все умирает: люди, животные, растения, дома, машины, слова, краски, звуки. Все ветшает, стареет, тлеет, «сгорает», «падает», вся неживая и живая природа. «Корова смотрела вбок на мальчика и молчала, жуя давно иссохшую, замученную смертью былинку»² («Корова»). Тут поразительно точное платоновское выражение: на всем в его мире лежит печать замученности смертью.

В произведениях Платонова на мир смотрит человек, мучительно раненный смертью. «Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти». Сосредоточенность «любопытного разума» рыбака на этой загадке приводит его к самоубийству, он бросается в озеро: «втайне он вообще не верил в смерть, главное же, он хотел посмотреть, что там есть» («Происхождение мастера»).

¹ «Живя главной жизнью» (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) — «Волга», № 9, 1975, с. 166.

² Все слова в цитатах выделены мною. — С. С.

Непостижимость перехода от чуда живой жизни к бездыханному телу, мертвой падали притягивает, почти завораживает автора. Куда в один миг девается вся рабочая фабрика? Куда ла, изощренность инстинкта, расчет ума, трепет души, кипение памяти, вместившей целый мир? Эта загадка заставляет Платонова бесконечно представлять мгновение перехода от жизни к смерти и животных, и особенно людей. Тем она, конечно, не решается, но настойчиво ставится перед чувством и размышлением читателя.

Герой повести «Джан», отправившись через пустыню на спасение своего маленького народа, встречает по пути ослабевшего, умирающего верблюда. Чагатаев сочувственно «понимает» этого верблюда, его уже почти ушедшую жизнь, которая никак не сдается и все еще стремится не упасть окончательно и продлиться дальше. Ведь и человеческая жизнь есть нескончаемое умирание, дыхание на ладан, полужизнь. Чагатаев медленно и терпеливо выхаживает верблюда — как позднее свой бедный народ — едой, сном, теплом: раздувает погасающий огонек существования. Среди «яростных», враждебных сил мира жизнь предстает как постоянное усилие продлиться.

Люди счастливых классов и эпох забывают, что все богатое «имущество» души и культуры может состояться лишь когда устроены первоусловия их тела: дыхание, сон, еда. Это само собой разумеется и не замечается. Заданная в «Джане» ситуация, когда голодающему человеку, дошедшему до животного состояния, надо только одно: что-нибудь съесть, чтобы не умереть, упирает Платонова в исследование самого главного механизма природного способа существования, которое можно назвать философским (хотя реализуется оно как художественное). Жизнь живет только за счет другой жизни, в непрерывном пожирании друг друга.

Народ джан сведен до тела, «последнего имущества немущих». А тело — такое имущество, которое надо постоянно питать, иначе оно рассеется до последней молекулы. Еда — акт связи человека с миром, через который притекает вещество для продолжения существования. Еда, борьба за еду становится глубоким «натуральным» сюжетом «Джана».

Центральные сцены этой повести: умирающий Чагатаев, заблудившийся в пещах. Дикие птицы, прилетевшие терзать его. Питающиеся падалью стервятники описываются автором с сочувствием, как красивые и умные существа. Когда их подстреливает Чагатаев — чтобы самому жить и дать по кусочку пищи своему народу, — этих птиц жаль как людей. У них свои способы справляться со страданием существования, свой закон жизни.

На животном уровне существования люди ничем не лучше этих орлов. «Самка почистила клювом когти ног и выплюнула изо рта какой-то древний объемок, может быть, остаток расклеванного Назар-Шакира». Люди делят и съедают мертвых орлов, а с ними и того же «расклеванного Назар-Шакира», своего соплеменника. Потом убивают, выпивают кровь, пожирают мясо и сосут кости доверившихся им овец. А орлов сосут блохи. Платонов недаром подчеркивает эту деталь. «Чага-

таев заметил даже сбоку у самки мелкие черные точки. Это блохи впились в живот птицы сквозь пух».

У писателя не раз возникает образ такого многоступенчатого убийства-пожирания. «Камень попал в голову воробья, воробей упал на тропинку и перестал дышать, а во рту его осталась непроглоченная бабочка, тоже мертвая теперь» («Разноцветная бабочка»).

В истории русской философии был мыслитель, который не только глубоко задумался над «природы вековечной давилъней» (Н. Заболоцкий), но все свое учение сфокусировал на цели ее преодоления. Это был Н. Ф. Федоров (1828—1903 гг.), который в истории русской мысли конца прошлого века представляет особое «утопическое» ее ответвление¹. Он выступил с идеями, которые во многом предвосхитили целое, так называемое космическое, направление в научно-философской мысли XX века, отмеченное именами прежде всего К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского. Федоров выдвинул необходимость нового, сознательного этапа эволюции: братское, объединенное человечество выходит в космос, становится его активным преобразователем и управителем (проект «регуляции природы»). Но главной задачей становится окончательная победа над смертью, обретение человечеством нового, бессмертного статуса, причем в полном составе прежде живших поколений («воскрешение предков»).

Такое беглое перечисление федоровских идей не может дать настоящего представления об их глубине, синтетичности и, главное, том нравственном пафосе, что привлекли к ним не только великих современников Федорова, какими были Ф. Достоевский и Л. Толстой, но и целый ряд советских писателей от М. Горького, В. Брюсова, В. Маяковского до Н. Заболоцкого и М. Пришвина. Нравственность Федоров укоренял в чувство всеобщего родства, любовь к прошлому, своим отцам и предкам, которые передали нам все, начиная от жизни и кончая всей материальной и духовной культурой. Самое страшное преступление для живущих — **за-быть** своих отцов, вынести их **за-бытие**, тем самым как бы окончательно вычеркнуть из бытия, лишит последней надежды на возвращение в него².

¹ В последние годы появилось значительное количество научных исследований, статей в массовых журналах, энциклопедиях, биографическое сочинение о Федорове В. Львова «Загадочный старик», которые подчеркивают как значение федоровского наследия в истории отечественной мысли, так и плодотворность многих его идей для современности.

² Тем более поражает контраст между этими идеями Федорова и его собственной биографией, разительно явивший то состояние «неродственности», «сиротства», царящего в мире, вопрос о преодолении которого он считал главной целью «всеобщего дела». «Душа человека, — писал он, — это два изображения, две биографии, соединенные в один образ» (имея в виду родителей). Кто же были эти две «составляющие» федоровской души? Сам Федоров упорно избегал рассказа о родителях и детстве; было совершенно ясно, что тут для него лежит полоса глубокой сердечной боли. Только близкие друзья постепенно приоткрыли завесу над его прошлым. Выяс-

«Философия общего дела», два тома сочинений Федорова («Верный», 1906 и Москва, 1913), оказала решающее влияние на формирование мировоззрения еще совсем молодого Платонова. По свидетельству М. А. Платоновой, эти сочинения были его настольной книгой и с многочисленными его пометками долго хранились в домашней библиотеке. О влиянии идей Федорова на творчество Платонова заговорили уже и исследователи писателя, правда пока еще только назывательно. Безусловные доказательства проникновения усвоения учения «общего дела» мы найдем прежде всего в тексте произведений Платонова.

Федоров был первым философом, который беспощадно прямо поставил вопрос о глубокой безнравственности для человека, существа чувствующего и сознающего, природного способа существования, основанного на взаимном пожирании, борьбе, вытеснении предыдущего последующим.

У Платонова есть взгляд на реальность мира, природу как на прекрасную картину и вечный, слаженный спектакль жизни. Это одно. Но есть и другое: природа не как картина и спектакль, предстающие человеческому созерцанию, а как принцип существования, открывающийся нравственному чувству и умному проникновению человека. (Именно такой подход к природе как к определенному способу бытия был последовательно осуществлен в «Философии общего дела»). Как принцип — это сила слепая, пожирающая, действующая не только вне, но и внутри нас. Как принцип она воплощается у Платонова в образе сосущего изнутри глиста или червя — могильной прорвы. «Во мне глист громадный живет, он во мне всю кровь выпил» («Происхождение мастера»).

Но сама эта природная сила, губящая человека в голоде, болезни и смерти, в себе самой как будто неуверенная и жалкая, как идущий без поводья слепой. «Гада бестолковая!» — как «философски» поносит природу «сокровенный» народный человек Фома Пухов.

В рассказах Платонова выглядывают оба эти лика природы: изредка, прекрасный и благоуханный лик мгновенного созерцания; чаще, лик томящейся, перемогающей, «призрачной», «скупной» стихии: «вид этой земли, серой и равнодушной»

нилось, что он был незаконнорожденным сыном князя П. И. Гагарина, умершего очень рано, когда Федоров был еще совсем ребенком. (Фамилию и отчество Федоров получил от своего крестного отца). О матери же Федорова вообще почти ничего не известно. В единственном документальном свидетельстве, принадлежащем Г. П. Георгиевскому, коллеге Федорова по Румянцевской библиотеке, впоследствии профессору книговедения, говорится: «Когда князь служил на Кавказе, он влюбился в молоденькую грузинскую красавицу, ради любви бросил службу, вернулся в имение и прожил с нею несколько лет. Плодом этой любви и был Николай Федорович... Его мать была потом замужем за директором первой московской гимназии». (Рукоп. отд. ВГБил, фонд Георгиевского). От своей таинственной грузинской матери Федоров унаследовал те черные глаза, необычайный огонь которых отмечают все мемуаристы и, возможно, ту горячность и вспыльчивость, с которой он сам всю жизнь боролся.

го, что для него судьба Ормузда и других жителей дальних, заросших садами стран **была чужда и отвратительна, она не испоканвала и не влекла его сердца** — иначе он, терпеливый, деятельный, сумел бы сделать в Сары-Камыше то же самое, что было в Хоросане, или завоевал бы Хоросан». Земное довольство и блаженство тела не ответ на крайние, тоскливые запросы сердца. Тучные сады не упраздняют «темной ветхости измученного праха». Речь идет о том, чью сторону выбрать: тучных садов или праха? Платоновский Ариман глубже Ормузда: сады тоже рано или поздно превращаются в прах, и если остановиться только на тучных садах, значит совершенно — навсегда — не допустить даже мысль, а тем более дерзание — воссоздать из праха сад вечной, неумирающей жизни.

Райская птица «тучных садов» нежится в холе, упивается своей песнью и забывается в вечности мгновенья; в исступлении наслаждения она не помнит ни своей телесной **протяженности** в мире, ни самой своей **длительной** жизни. Голод и стужа не дают забыть воробью о самом себе; от постоянного усилия выдержать свою жизнь он наживает себе и ум, и мудрость («Путешествие воробья»). Человек у Платонова не райская птица, а воробей. **Пространство** тела и **время** жизни даны ему в остром ощущении мучения существования. Он преодолевает жизнь, значит чувствует и знает ее. В клетке, даже большой, золотой и сладкой, воробей ложится и умирает: он хочет чего-то другого от жизни, о чем не успели узнать **самозабвенные** райские птицы.

Оригинальность Платонова в русской литературе, страдающей за мучительную жизнь народа, — в обнажении всеобщей человеческой судьбы в этом мучении. Больной, сирый и убогий достоин не только жалости и готовности помочь. Он ближе «счастливых» стоит к оборотной стороне жизни; его темное, не дошедшее до членораздельного выражения душевное переживание жизни таит знание, касающееся всех и каждого.

Одним из самых частых слов, наряду со «смертью», «умирать», «умирающий», у Платонова встречается определение «скучный», «скучно», «скука». «Всемирная бедная **скука**» («Родина электричества»). «Вскоре я отправился домой. Мне пришлось долго ехать по осенней степи, среди которой природа исполняла свою **скуку**» («Первый Иван»). «Оглядевшись здесь, Чагатаев улыбнулся всем призрачным, **скучным** стихиям, не зная, что ему делать» («Джан»).

Как ощущения запаха, вкуса, тепла, цвета, форм и т. д. — реакции человеческих рецепторов на явную, **физическую** реальность окружающего, так **скука** у Платонова — тягостная «метафизическая» реакция человека на скрытый, темный, **смертный** лик мира. Вот образное сопряжение, дающее ключ к этому изобилию определений «скучный» и «скука» в произведениях Платонова: «Пустой свет Туркменистанской равнины, **скучной как детская смерть**» («Такыр»). Скука — от смерти, от ее фатальной неизбежности — детская смерть вдвойне томит сердце своей нелепостью.

Чувство скуки всегда вызывалось именно зрелищем дурной бесконечности, бессмысленным кругооборотом жизни

(«пустоворотами бытия», по выражению А. Белого). Когда человеческое чувство останавливается на сознательной или чаще всего бессознательной констатации безнадежности, такого порядка вещей, — возникает это странное тяжелое ощущение скуки. Когда внутренний смысл, ценность вещи, человека, бытия объявляются равными нулю, то именно этот нуль удручает до скуки.

У Платонова появляется нечто новое: скука, скучный — как определенный момент «онтологического» самоопределения всякой твари, живой и неживой. Она **скучна в себе**, т. е. не несет в себе высшего смысла, как будто внутренне ощущает собственную неполноценность. Но скука — нравственный штиль, мертвая нулевая точка, от которой не может начаться движение и превозможение. Но неужели скука — это вся реакция, на которую способен человек?

Природа в произведениях Платонова как будто мается в тяжелом душном сне. Все в ней томится и ждет чего-то, ждет как будто изменения своей участи. В ней «печаль дремлющего разума»: природа тоскует по сознанию, стремится к нему и силится дать его человеку. В человеческой тоске за все погибающее — создание несчастья самой природы, ее смутный порыв превзойти самое себя. В чувстве **грусти** для Платонова большой залог и обещание, **грустно** — значит нехорошо все происходит, не должно так быть. В грусти и тоске — в отличие от скуки — выход за себя, начало движения, стремление к идеалу, находящемуся вонне и выше. Это очень важное для Платонова чувство, он его лелеет так, что оно становится у него, можно сказать, важным **нравственным чувством**. Это чувство зовет спасти все живое. «Мы тебя одну не оставим!» — говорит Чагатаев черепахе.

Но и неживое — ветхие плетни, разрушающиеся дома, старые, негодные инструменты и прочая уже потерявшая осмысленный облик мелочь — вызывает у Платонова огромную нежность и боль. Все эти забытые, ненужные вещи, «последние бедняки» утвари, когда-то служившей людям, хранят следы бывших жизней, в них еще остатки тепла и дыхания ушедших людей; это все разбазаренный, анонимный федоровский «музей»¹.

Все в природе, в огромном космосе есть **вещество**, вещество, кочующее по существованиям. Что было когда-то человеком, превращается в землю, в прах, из него растут травы и деревья, из них делают разные вещи; вещи стареют, разрушаются, превращаясь в те бесполезные пустяки, те незаметные, скудные

¹ Проект «музея» у Федорова — повсеместное и всеобщее предприятие сохранения и изучения всех культурных и вещественных памятников эпохи вплоть до последних мелочей быта. Конечной задачей такого собрания и изучения всех следов прошедших эпох и живших людей является вклад в их воскрешение. «Музей есть сбор живущих сынов с учеными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов. Задача музея поэтому естественно—восстановление последних по первым». Н. Ф. Федоров, «Философия общего дела», т. II, с. 410.

мелочи, к которым так странно бывает привязано сердце в мире Платонова. «При расставании с местом Джумаль всегда долго и грустно прощалась с тем, что остается одиноким: с местом саксаула, у которого она играла, с куском стекла, с вышедшей ящерицей, служившей ей сестрой, с костями съеденных овец и разными предметами, названия которых она не знала, но любила их в лицо. Джумаль мысленно тосковала, что им будет скучно и они умрут, когда люди уйдут от них на новое кочевье» («Такыр»).

Человек живет от рождения до смерти, «срабатывая вещество своего тела». Пыль, сор, прах — отработанное, последнее вещество, конечный пункт кочевья. У Платонова какая-то горькая нежность к этому праху: играть, пересыпать его в руках, ласкать мириады растертых в нем жизней. Недаром девочка Уля, та, что, сама не понимая, обладала даром видеть оборотный лик жизни, «цветов... не любила, она никогда не трогала их, а набрав в подол черного сору с земли, уходила в темное место и там играла одна, перебирая сор руками и закрыв глаза» («Уля»).

«Недолжность» того закона, на котором стоит мир, в человеке острее всего переживается через невозможность принять смерть, уничтожение каждого, уникального человека. Детское чувство становится у Платонова, так же как у Федорова, образцом и критерием для всех. Мальчик Вася любит смотреть на проезжающие поезда, замедляющие ход у его полустанка. Однажды он увидел у окна незнакомого человека, который улыбнулся Васе, сказал «До свидания, человек» и помахал рукой на память. «До свидания, — ответил ему Вася про себя. — Вырасту, увидимся! Ты поживи и обожди меня, не умирай!». («Корова»). «Не умирай! Не надо!» — нестерпимость, недолжность смерти сильно переживается в детской душе.

Дети хотят прямо видеть лицом к лицу (как любил говорить Федоров) всех родных, всех умерших, «уснувших», а родные у них — все живущие люди и даже вообще все существующее — живое и неживое. Но и взрослые, «сокровенные» герои Платонова остались в этой потребности детьми. «На снегоочистителе было написано: «Система инженера Э. Бурковского».

«Кто этот Бурковский, где он сейчас и жив ли? Кто ж его знает! — с грустью подумал Пухов и отчего-то сразу ему захотелось увидеть этого Бурковского» («Сокровенный человек»).

Мы привыкли к духовным формам представления дорогих умерших, душевной памяти о них. У Платонова поражает нежность к буквальным, телесным остаткам мертвых, даже не нежность, а какое-то иступленное стремление удержать нечто действительно, физически им принадлежавшее. «Захару Павловичу сильно захотелось раскопать могилу и посмотреть на мать — на ее кости, волосы и на все последние пропадающие остатки своей детской родины» («Происхождение мастера»). Мотив раскопанной могилы не однажды возникает в произведениях Платонова. И то, что он может появиться, казалось бы, совершенно не к месту, глубже выдает его философскую навязчивость.

Платонов не раз сосредоточенно останавливается ^{по} ^{нять!} — на физиологии смерти. Он умеет подчеркнуть ужас и тлетворность разложения. В рассказе «Такыр» лошадь почти не может пить воду, она отравлена гнилостными испарениями ^{ист} ^{лучшего} ^{трупа,} который везла на себе.

Запах гниения трупа, падали невыносим для человека. В этом отвращении есть и своя надежда. Раз отвратительно, значит **неприемлемо**. Ведь запахи, восприятие их, отношение к ним субъективны. Что для трупных червей — амброзия, нектар, то для человека — жуть и **стыд**. Именно стыд: этот паразитальный «нравственный» обортон всегда есть перед запахом разложения. Стыдно, стыдно за попускание такого.

Но что еще поразительнее — у Платонова чувство любви оказывается сильнее отвращения перед миазмами тления. «Усопший лежал неглубоко под нами, и из земли явственно шел запах его тела, смешавшегося с почвой. **Женщина глубоко дышала этим воздухом, в котором были частицы тела любимого ею человека, довольная уже тем, что хоть таким образом она общается с ним и чувствует его близость...**

— «**Давай, мама, откопаем папу!** — сказал сын матери. — Пусть он дома лежит» («Пустодушие»).

Платоновская тоска по умершим не смирилась с красивой грустью призрачного образа, хранящегося в памяти. Через крайние эксцессы этой тоски — «давай, мама, откопаем папу!» — в ней пробивается кажущееся безумным, но реальное чаяние. Только любовь к конкретной неповторимой телесной форме, забывшая «брезгливую осторожность», может руководить в «общем деле» познания мира в его смертных глубинах, действительного возвращения умерших к жизни.

Федоров писал: «В чувстве скорби первого сына человеческого, сожаления о потере отца зародилась та мировая скорбь о тленности всего, о всеобщей смертности, в которой природа впервые дошла до сознания своего несовершенства и с зарождением которой положено начало обновлению мира, начало эпохи человеческой, в которую мир должен быть воссоздан силами самого человека»¹.

Федоровским печалованием по умершим, нескончаемым плачем исходит душа живых над отошедшими. «Где теперь, спустя целый человеческий век, тот дед у деревянного сельского моста?..»

Кто жив еще из людей, завивавших венки на высокой поляне во времена детства Акима?» («Свет жизни»). Где, кто — звучит вопрос и зовет найти. И тревожатся смутным желанием сердца, и трогаются в путь особые люди — платоновские странники. Весь мир они чувствуют как **умирающий** и бегут по нему все вдаль и вдаль, превращая «тишину и **погибающие** звезды» в «**настроение личной жизни**» («Происхождение мастера»).

Много их в мире Платонова, тех, которых томит «сильная, грустная мечта о безвозвратном бродяжничестве». И вот бредут эти бедные рыцари какого-то бесконечного похода в даль

¹ Н. Ф. Федоров. Философия общего дела, т. I, с. 75.

расстилающейся земли. Какой Грааль манит их, какое «отечество»? «Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной совести, открывшейся в груди, он хотел бы без отдыха идти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами» («Происхождение мастера»). Слово сказано: зов дали рождается из тоски по умершим, из подсознательного желания их вернуть¹. В платоновских странниках как будто возрождается та наивная, «детская», безутешная скорбь по унесенным смертью, которая в далекие, первоначальные времена направила легендарного Гильгамеша на поиски своего умершего друга Энкиду.

Печаль по умершим, скорбь, печалование становится тем чувством, которое ведет к действию. Это отчетливо выражено в ранних научно-фантастических рассказах Платонова. Здесь осуществляется попытка непосредственно воплотить некоторые идеи Федорова в предвосхищающем художественном повествовании. Так, в «Потомках солнца» яростно взвихрилась картина покорения стихий, радикальной перестройки всего земного шара, а затем и всей вселенной. Человек создал машину, господствующую над пространством, сжимающую время. Но сам остался хрупким и предельно уязвимым: погасить его дыхание непостижимо легко. Свой полет на луну, все дело своей жизни Питер Крейцкопф, герой «Лунной бомбы», внутренне посвящает случайно убитому им мальчику, а через него победе над смертью, над той самой, что слепо косит и дальше в рассказе. Только эта будущая победа может искупить все. Иначе для чего вся техническая мощь, все чудеса покорения звездных бездн. Это лишь шаги к той, окончательной победе, единственной, которую страстно, безумно, невозможно жаждет сердце человека у Платонова.

Для понимания мысли Платонова вспомним его поздний, военный рассказ «Пустодушие». Русский мальчик остается один с матерью. Его отец убит фашистами, как непригодный для работы калека. Мальчик хочет, нестерпимо хочет только одного — исправить совершившееся, возвратит отца к жизни. Он просит привести к нему фашиста, убившего его отца. «Зачем он тебе? — спросил я у сироты. — Ты убить его хочешь? «Мальчик со странной грустью поглядел на меня. — Нет... Пусть он сперва отца нам отдаст...».

Неосуществленная истина была в словах ребенка. Он размышлял, что убивать может лишь тот, кто умеет рожать или возвращать обратно к жизни.

«Убивать может лишь, тот, кто умеет рожать или возвращать к жизни» — какая странная на первый взгляд мысль! Зло, даже самое крайнее, может быть искуплено возвращением жизни, которую погубило это зло. Ведь зло потому и зло, что оно так или иначе губит жизнь. Появляется какая-то светлая брешь в наглухо замурованной, непреступной стене зла.

¹ Федоров считал, что древними переселениями народов, их передвижением по пространству двигало глубокое, непроясненное желание найти страну мертвых.

Осуществленный труд воскрешения может ее и совсем вернуть. Так считал Федоров, так же верит в это Платонов.

Мысль о неискупимости зла, мысль отчаявшаяся, нашла себе выражение в мстительном представлении о вечном аде. В народной книге о Фаусте исковерканное наслаждение обиженного злом сердца родило такой образ: если бы проклятые богом бесы, обитатели преисподней, имели хоть малейшую надежду на спасение, они поднялись бы на небеса по лестнице из остро отточенных ножей; но холодом и ужасом звучит: никогда и ни за что!

Никогда! — это слово-враг: в нем мучительное отчаяние в спасении, но искренность этого отчаяния поспешно замешана на темном сладострастии погибели. Никогда! — с этим не может смириться любящее сердце и высокое сознание. «Только любящий знает о невозможном и только он смертельно хочет этого невозможного и делает его возможным, какие бы пути ни вели к нему» («Потомки солнца»).

В «Эфирном тракте» общество будущего уже сознательно стремится к достижению этого «невозможного». Рядом с крематорием стоит Дом Воспоминаний, здание-сфероид, образ космического тела, с телескопической вышкой «в знак и угрозу мрачному стихийному миру, отнимающему живых у живущих, любимых у любящих, — в надежду, что мертвые будут отняты у вселенной силою восходящей науки, воскрешены и возвратятся к живым». «Над входом в Дом висела арка со словами: «Вспоминай с нежностью, но без страдания: наука воскресит мертвых и утешит твое сердце». Здесь в дальнем углу зала рядом с урной Кирпичникова, бившегося над созданием «эфирного тракта» (выращивание материи), Платонов собрал урны двух своих героев из «Потомков солнца» и «Лунной бомбы» — Андрея Вогулова и Питера Крейцкофа. Все урны пусты: прах троих рассеян неизвестно где «яростными и враждебными силами мира», с которыми они начали схватку.

Воскрешение мертвых самими людьми, мощью науки, силой любви — основное содержание федоровского «общего дела» — постоянно возникает в творчестве Платонова, и не только в научно-фантастических рассказах. Оно прямо выражено в его поэзии. Революция и в ранних стихах Платонова и в его публицистике воспринимается как грандиозный катаклизм, призванный пересоздать не только общество, но и жизнь человека в его натурально-природном виде. Происходящая революция для Платонова предвещает другую, «космическую интеллектуальную революцию», новый вселенский зон, когда «мысль легко и быстро уничтожит смерть своей систематической работой — наукой»¹.

Предельные дерзания, которые обнаруживает мысль молодого воронежского поэта и публициста, не были исключением для эпохи, казалось бы, всецело, до изнеможения занятой прямыми, практическими заботами дня: разгромом контрреволюции,

¹ А. Платонов. Культура пролетариата. — «Воронежская коммуна», 17 окт. 1920 г., с. 3.

разрухой, голодом, элементарной организацией жизни. Стремление определить конечные идеалы, установить высшую цель, всегда необходимое человечеству для его совокупной осмысленной деятельности, неизмеримо возрастает в эпохи радикального обновления мира. Тут на голом месте без всяких помех ставятся вехи «идеально» спроектированных работ, рационально спрямляется путь к самой далекой дали.

Новой надеждой осветились сердца и многих героев платоновской прозы, повествующей о самых первых годах революции. Как в рассказах о дореволюционном времени главная тоска, «сердечная нужда» его «душевных бедняков» — от бессмысленности существования, обреченного на смерть, так и в революцию они недаром уверовали как в катастрофический конец старого мира, как в «конец света» и начало «будущего века» («Происхождение мастера»). У Платонова оживают эсхатологические народные чаяния, но с той существенной поправкой, что «будущий век» предполагается построить самим, а не получить сверхъестественным образом.

В 20-е годы гимн вселенскому труду, гигантской космической стройке громко раздавался со страниц произведений поэтов «Пролеткульта» и «Кузницы». Своеобразие платоновского поэтического сборника «Голубая глубина» (1922 г.) в прямом смыкании воспеваемого будущего преображения мира с победой над смертью, воскрешением умерших. Познание, труд, космос, воскрешение — основные темы ранней поэзии Платонова, внутри стягивающиеся в одну и единую.

Идея «научного воскрешения» не исчезает и из последующего творчества Платонова. От «Родины электричества» до поздних военных рассказов она пересекает его «трассирующим» мотивом. Фома Пухов «находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость» («Сокровенный человек»). Делопроизводитель Жаренов, поэт, болеющий за все «дело мировое», поднимает заснувшего героя звучным призывом: «Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать» («Родина электричества»). Лейтенант Агеев призывает своих бойцов бить врага ради будущей победы над смертью: «После фашиста мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знание будущих поколений получат высшее развитие». («Смерти нет»).

Платонов **принципиально** отдал себя «убогой, слабой жизни», которая мается, преодолагает себя, пытается пробиться к уму и силе. Только «недостаток», неполнота, несовершенство рождают порыв к их превозможению и к достижению полноты и совершенства. «Кто был ничем, тот станет всем» понимается Платоновым не только как перемена социальной одежды, но как дерзание на крутой взлет человека, единственно работающего, творящего существа космоса. «Чем меньше человек по рождению, тем больше, тем выше и могущественнее он по делу, по труду»¹, — писал Федоров. В «Философии общего дела»

¹ Н. Ф. Федоров. Философия общего дела, т. II, с. 217.

он выдвигает особое достоинство трудового, творческого в человеке. Человек создает самого себя (начиная с первого акта самодеятельности человека — принятия вертикального положения); в нем не все рожденное, природное, но и сотворенное самим, трудовое. В пределе перед человеком ставится задача все рожденное заменить сотворенным, все даровое — трудовым. Рожденное природой подвержено ее законам борьбы, волевого и невольного вытеснения, изнашивания, старения, смерти каждого отдельного индивидуума. Трудовое создается по разумному плану, подчиняется благой цели. Оно может и должно стать воплощением той высшей ценностной мечты, на которую способен человек.

Революция и последующее строительство были восприняты Платоновым и его героями как начало эры трудового, созидательного преобразования мира. «Как великое странствие и осуществление сокровенной думы в мире осталась... революция» в памяти чувства Евдокима Абабуренко, героя раннего платоновского рассказа «Бучило». Этот рассказ тесно заселен чужаками, мастеровыми, народными мыслителями, такими как Федор Крюйс с его «генеральным сочинением о земле и душах тварей, населяющих ее». Горячим, «нутряным» словом он ищет в нем для человека выход из «окрестного зверствующего мира», мира, где безраздельно царят законы размножения, пожирания и взаимного вытеснения. В слове народных героев, впервые выходящих к мысли и ее выражению, царит детское обновляющее косноязычие. Тут нет места речи гладкой, выученной, автоматизированной, оглядывающейся на длинную культурную традицию. Но в этом случае для читателя есть опасность поверженного, эстетского смакования такого стихийного, новорожденного слова. Ошарашенный впечатлением от терпкой, низовой вязи речи героев Платонова, читатель часто пропускает ее глубину. Отцеживает эффектно жужжащего комара необычной формы и процеживает целого верблюда ее смысла. А между тем в их уста Платонов вкладывает свои самые смелые мысли.

От них тянутся и позднейшие герои Платонова с их трепетным отношением к человеческим изделиям и машинам. Восторг перед машиной в произведениях Платонова всегда в значительной степени — философский восторг. Факт, что в машинах человек выходит больше себя «и по размеру и по смыслу», остается поводом для радостного потрясения и постоянной работы мысли героев Платонова.

В поэтическом мире самого Платонова машина обернулась по преимуществу паровозом, великолепно и почти одушевленным у него существом. «Паровоз стоял великодушный, громадный, теплый на гармонических перевалах своего величественного, высокого тела. Наставник сосредоточился, чувствуя в себе гудящий безотчетный восторг» («Происхождение мастера»). Для этого были причины, относящиеся к личности самого творца, сильным формирующим впечатления детства и юности. (Известно, что сам Платонов работал помощником машиниста). Но в паровозе для русского человека всегда была еще и особая магия. Поезд — железный конь, покоряющий основную российскую стихию — пространство. Недаром русская музыка родила та-

кую взрывную юбилейную по поводу паровоза, казалось бы, та- кой индустриальной прозы:

«Веселится и ликует весь народ.

И быстрее, шибче воли, поезд мчится в чистом поле».

Поезд мчится по пространству земли, в будущее, «в убегающую даль». У Платонова — он железный брат его странников. Как платоновские странники — бедные рыцари пространства, так и паровоз — тоже странник, но на колесах. Паровоз — как всякая машина — как все, создаваемое людьми, как сами люди, идут в один, все тот же великий поход, за жизнь, «которая может повториться».

Самые свои заветные философские идеи, те, что «для идеев соблазн, а для эллинов безумие», Платонов часто развивал через детский взгляд, воплощал в детское пространство жизни. Печалование по умершим, грусть о каждом человеке как смертным настолько сильна у платоновских детей, что она избыточно выплескивается на весь мир, всех его тварей, всех соседей и братьев по одновременной жизни. Подобранная букашка, упавший к ногам лист, выросший на дороге цветок встречаются детьми как неповторимая личность, к которой тут же привязывается сердце. Платонов как будто дает урок взрослым, часто не умеющим сохранить в мире человеческих отношений эту основную установку **на личность** другого, которая так щедро, сказочно растекается в детском чувстве. И именно в детской душе рождается горячая, рыцарская воля к действию — сразиться со смертью, «железной старухой», губящей людей («Железная старуха»).

А вот другой, незамысловатый с виду, рассказ «Никита». Пятилетнему мальчику весь окружающий его неодоушевленный мир кажется живым: колодец, пень, бочка, плетень, избушка, стол, лопухи представляются какими-то злыми существами, готовыми оцетиниться против Никиты и самого главного человека, его мамы. Этот таинственный, кишачий людьми-оборотнями мир пугает ребенка, у него нет над ним власти. Мальчик переживает в своем развитии ту стадию, которую прошло все человечество в своем далеком детстве: первые, анимистические представления наших предков оживают в ребенке. На солнышке, добром, дающем тепло, живет его умерший дедушка, а на луне — бабушка (то, что Федоров называл первобытной патрфикацией неба, небесных светил, т. е. населением их душами умерших отцов).

— «Дедушка, иди опять к нам жить!» — просит Никита у солнца.

Неожиданно возвращается с фронта отец, а с ним мир умных инструментов и сделанных человеком вещей. Все магические страхи Никиты рассеиваются. Начинается работа: отец ремонтирует дом, Никита выпрямляет кривые гвоздики. И сработанный им гвоздик впервые из всех вещей показался ему добрым, улыбающимся человечком. Следует характерная, идейная концовка рассказа.

«Он показал его отцу и сказал ему: — А отчего другие злые были — и лопух был злой, и пень-голова, и водяные люди, а этот добрый человек?»

Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему:

— Тех ты выдумал, Никита, их нету, они непрочные, от-
того они и злые. А этого гвоздя-человека ты сам трудом зарабо-
тал — он и добрый.

Никита задумался.

— Давай все трудом работать, и все живые будут».

Так через наивное умозрение ребенка — «Давай все тру-
дом работать, и все живые будут» — проводится у Платонова
одна из фундаментальных федоровских идей: человек только
тогда будет вечно живым, бессмертным, когда сам себя создаст,
станет причиной самого себя, все в себе рожденное, даровое за-
менит на трудовое, творческое. В простенькой детской модели
гвоздя ставится целая философская проблема, и даже не одна.
«Они непрочные, оттого они и злые» — тут мимолетный отго-
лосок убеждения в том, что зло — от «непрочности», от смер-
ти, что путь к добру — через труд, спасающий от «непрочно-
сти», от смерти.

Не случайно именно художников, таких как Достоевский,
которые ярче других видят великое в человеке, сильнее верят
в его высокое божественное предназначение, так зачарованно,
почти болезненно влечет вьестся до конца, до нестерпимой
сердечной боли в темное, зверское, безобразное в человеке. В
свете их идеального предела раздвоенность человеческой при-
роды — мучительная тайна для переживания и понимания.

Особое место среди таких художников занимает Платонов.
Редко кто так насыщенно умел представить ужасы «окружаю-
щего злобствующего мира». Но у него при этом господствует
особая аналитически-кроткая интонация, чуждая всякого сенти-
ментального отчаяния, надрывного расчесывания язв. Он ни-
когда не преминет спокойно показать, что за злом стоит несча-
стье, а еще глубже — отчаяние в спасении от окончательного
уничтожения в смерти, которое и ведет к извращенно мститель-
ному стремлению мучить ближнего, сорвать на нем бессильно
злобствующее сердце.

В военных рассказах проблема зла ставится Платоновым
несколько в другом повороте. Зло получает свое конкретное
воплощение в фашистском варварстве, угрожающем дальней-
шему, «правильному» развитию мира. Война, как постоянно
подчеркивает писатель, — это работа, расчетливая и самоотвер-
женная, по уничтожению зла. Произведения Платонова о вой-
не — своеобразные «производственные» рассказы, подробно
описывающие ратную работу солдат и офицеров, во всей после-
довательности продуманных «трудовых» операций, направлен-
ных на возможно большее производство конечной продукции:
мертвого, поверженного зла — фашистских солдат и их тех-
ники.

В военных рассказах Платонова меняется угол оценки. До
этого высшей ценностью для него была жизнь, причем жизнь
каждого уникального, уносимого смертью существа. На войне
речь тоже шла о жизни, но не конкретного человека прежде
всего, а о жизни всего народа как целого. Стал другим отсчет,
масштаб — более общим, родовым, а не индивидуальным.
Главной заботой стало сохранение **родового, народного, нацио-
нального**. Ради этого себя, каждого, единственного человека,
забывали и не жалели.

Точно так же стало невозможно и кощунственно всматриваться в отдельного немецкого солдата и видеть в нем человека. Он стал безликой частью единого и целого зла. Немецкий солдат, фашист у Платонова — не человек, неполноценное, искалеченное существо. Убей его, пусть истлеет! — и невозможно было иначе даже для писателя, основной идеей которого была идея жизни, жизни бессмертной всех живущих и живших людей. Платонов не отделяется от родины в решающий, смертный ее час. Он выбирает ожесточившееся от страдания сердце своего народа, как свою мать, роднее и любимее которой не может быть чужой, дальний народ, а тем более звериный, мучающий и убивающий. Любовь трепетна и выборочна, ей оскорбительна мудрая прохладность. Спаси тело своего народа, родники серых глаз, в которые прямо выходит душа, русское чувство к умершим, которое не брезгует тленем, идею жизни и воскресения жизни, родившуюся в русском народе, «моих бессмертных» лейтенанта Агеева — перед этим отступает всякая философская последовательность. Отступает на время, на время страшных, крестных испытаний народа.

* * *

Творчество Платонова все вышло из одной идеи, «идеи жизни», как он сам ее называл. Мы попытались понять эту идею и ее конкретный исток. Платонов не был ни чистым мыслителем, ни ученым. Печалование об умерших, чаяние будущей встречи, работа над преображением страждущего природного мира в новый, «божественный» статус бытия — главные раскрытия его «идеи жизни».

Растет она из сердца, непререкаемых требований сердечного чувства. Это и стало собственно платоновской областью художественного исследования. Сила А. Платонова в обнажении нелепости, «ненужности» смерти на таком первично-эмоциональном и вместе с тем глубоко нравственном уровне, о котором говорил А. М. Горький: «Потом я думаю, что когда-нибудь люди победят смерть. У меня нет иных оснований верить в победу над смертью, у меня только одно основание — вот умирает человек, и это так просто, так ненужно»¹.

Говорят об эмоциональном тоне речи, музыке прозы. Есть произведения, в которых звучит большой оркестр, разыгрывающий целую симфонию в сложном переплетении голосов, тем и их развитии. Платонов — писатель по преимуществу одной мелодии, одного тона. Звучит, томится жалейка; бесконечно варьируется мелодия печалования об умерших, увлекающаяся в своей тоске до чистого и высокого плача обо всем мире как погибающем. «Город потухал на медленной тьме, и дальние церковные колокола тихо причитали над погибающим миром» («Сокровенный человек»). Это та внутренняя музыка всех его произведений, которой нельзя не проникнуться, читая Платонова. Тоскующий, скорбный голос звучит то явственно, то да-

¹ М. Горький. Из воспоминаний. Полн. собр. соч., М., 1973, т. 16, с. 396.

же в самых светлых вещах уходит в скрытый эмоциональный фон.

Стиль речи Платонова — глубоко аналитический. Писатель не озабочен объективным переносом окружающего, природы или человека, как они есть. У него **мысль о мире** формирует сам окружающий мир. Эта мысль рождается на глазах через рождение слова. У Платонова поразительная способность мыслить в самой фразе, словами, их сочетанием и столкновением. Мысль идет наикратчайшим путем, ярко и точно, как вспышкой молнии, сваривая любые слова, самые нужные, не обращая при этом внимания на необходимые логико-грамматические швы. Каждое предложение у Платонова — не фотография или образ кусочка мира, а именно мысль о мире, но мысль **мучающаяся чувством**. Точнее, эта мысль еще не покинула «детского места» своего созревания, богатого кровеносными сосудами сердечного питания. Она не успела иссушиться головной средой ее обычной дальнейшей жизни.

Если попытаться найти внутренний аргумент Платонова на законное сомнение: как же можно идти против природы и ее законов? — то он окажется исключительно «сердечным», лишённым всякой логически-научной убедительности: **я не могу иначе, я хочу**. Но если вдуматься, это мощнейший аргумент, который в конечном итоге двигал человечеством в его трудном пути от первобытного, беспомощного состояния к современным чудесам его научного и технического могущества. Ведь в последнем анализе причина создания самолета та же: **я не могу только ползать по земле, я хочу летать!**

Платонову был близок мир сказки и мир детства. В нашем представлении они неразделимы. Дети читают сказки, сказки написаны для детей. Но ведь сказки сочинили не дети, и, возможно, вначале вовсе не для детей. Сказка и дети связаны глубже. Они на самом деле написаны детьми, вернее **детским чувством и детской логикой**. Сказки составлялись тогда, когда народные чувства и ум были еще детскими.

В сказки шел окружающий человека мир: природа, деревья, птицы, звери; персонажи и отношения человеческого общества, бедняки, цари, солдаты; причудливые порождения фантазии; одним словом, вся жизнь, ее заботы, радости, страхи и надежды. Сказки кишат конкретностью. Но главное в сказке, **нерв**, движущий всеми ее членами, **сердце**, несущее кровь ее смысла, **мозг**, оправдывающий ее существование, — одно: **реализация чаемого, осуществление мечты**, пусть самой невозможной и самой безумной. **Я хочу** — и это получаю. Хочу есть — к услугам скатерть-самобранка; хочу в миг пересечь пространство земли — сапоги-скороходы; хочу летать — ковер-самолет; хочу красу-девицу — на тебе! Условия: доброе, расположенное к миру сердце героя и ключи к разным тайным его замкам, отпирающие невозможное, чудесное, — которые поочередно даруются герою самим этим миром в лице его существ и стихий. В пространстве сказки воплощается принцип: **невозможного нет, все возможно**, принцип детский, не испуганный

еще жестким сопротивлением мира, на которое напарывается взрослый. Но только преодоление этого испуга, взлет на крыльях мечты, чающей невозможного, и бросало человечество вперед.

В рассказах Платонова дети **хотят**, сильно и горячо, разбудить «спящих», вернуть умерших («Сухой хлеб»), превратить кратковременную встречу всего существующего, каким является сейчас жизнь, в вечное свидание, ликующий хоровод всего живущего и жившего. Детское чувство по-детски **сказочно**: я так хочу! Так надо и хорошо! Пусть будет так! Дети — провозвестники пришествия той великолепной страны невозможного, о которой А. Платонов писал в письме к жене: «Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть. Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души»¹.

¹ «Живя главной жизнью». (А. Платонов в письмах к жене, документах и очерках) — «Волга», 1975, № 9, с. 162.

ЧЕТЫРЕ КНИГИ О ДРУЖБЕ

Новая серия книг, вышедших на русском языке в издательстве «Мерани» «Шумит Арагва предо мною», 1974 — о грузинских связях А. С. Пушкина, «Там, где вьется Алазань», 1977 — о взаимоотношениях А. С. Грибоедова с грузинской общественностью, «За хребтом Кавказа», 1977 — на тему Лермонтов и Грузия и «Поэтический край», 1978, Н. Г. Чернышевский и грузинская общественность), по единодушному мнению, не только дань памяти четырем великим русским писателям, но и явление значительно более широкое. Это — тщательно изученная и с исчерпывающей полнотой, но сжато изложенная страница литературных взаимосвязей двух братских народов. Книжки о дружбе Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Чернышевского с грузинской общественностью наглядно свидетельствуют о том, что грузинское литературоведение многое сделало для систематизации материалов в этой трудной области и создания четких, глубоко аргументированных страниц в истории литературных связей грузинского и русского народов.

Поскольку сборники эти получили благожелательные отклики в разных концах страны, хотелось бы обратить внимание на то, в чем их особен-

ность. Как известно, русско-грузинские литературные взаимоотношения предполагают две стороны: отношение русского писателя к Грузии (пребывание его в «Новом крае», произведения о Грузии, высказывания о грузинских деятелях, природе, искусстве и др.) и отношение грузинской общественности к русскому писателю (русские писатели — в прессе Грузии, в грузинской критике и литературоведении и т. д.). Именно подобное двухкомпонентное строение у всех этих книг. Но схема эта довольно подвижна. Исходя из наличия материалов, составитель В. Шадури с различной полнотой комплектовал каждую часть и подчасти. Иногда (как в книге о Грибоедове) превалирует вторая сторона проблемы, иногда (как в сборнике о Лермонтове) — первая. Но, как правило, накопленный научный материал находит отражение в «документально - художественной» или исследовательской частях книг. Это дает представление о том, в какой мере изучена та или иная сторона литературных связей русского писателя и что еще предстоит сделать в этой области.

Каждая книга формировалась из материалов двух типов: из произведений самих русских писателей о Грузии, из их высказываний, писем и т. д., а, с другой стороны, из кратких обзоров, исследовательских очерков, справок, комментариев и примечаний. От характера, качества и объема материалов зависело —

какой «крен» получила та или иная книга — писательский или исследовательский. Так, в первом по времени выхода сборнике приведены произведения Пушкина о Грузии, большой документальный материал — воспоминания современников о поэте, сведения о пушкинских торжествах, высказывания грузинских деятелей о писателе и т. д.

Все эти материалы имеют место и во втором сборнике, но произведения о Грузии (или упоминания о Грузии) здесь представлены шире, так как Лермонтов написал о «Новом крае» значительно больше Пушкина...

В каждой книге этот документальный материал, как говорилось, обрамляется исследовательскими очерками, комментариями, примечаниями и т. д. Эти материалы занимают значительное место и придают сборникам, помимо хрестоматийного, еще и исследовательский характер. Так, в сборнике о Чернышевском целые разделы написаны исследователем. Они не только вводят читателя в курс дела, но и, соединяя разрозненные сведения, отдельные штрихи, создают стройную картину взаимоотношений великого революционного демократа с грузинской общественностью. Таковы очерки «О роли Н. Г. Чернышевского в развитии русско-грузинских общественно-литературных связей», «Н. Г. Чернышевский о Грузии и тбилисских изданиях» и другие, в которых приведены статьи Чернышевского о сборнике «Зурна», о «Записках Кавказского отдела...» и т. д. Все это вставлено в рамки исследовательских очерков, где одновременно комментируются события и приводятся сведения о лицах,

упоминаемых в рецензиях и имеющих отношение к Чернышевскому.

Аналогичный принцип изложения соблюден и в других книгах серии. Это делает их доступными как для самого широкого читателя, так и необходимыми для специалистов-исследователей.

Обращает на себя внимание стремление предоставить слово самим произведениям, документам, письмам, свидетельствам очевидцев и участников событий и т. д. Как правило, подобранные документы весьма красноречивы. Да и в исследовательских очерках и справках, предваряющих или сопровождающих эти материалы, ощутима тенденция быть предельно объективным. Сообщив факты, указав на события и документы, составитель предоставляет читателю делать выводы самому.

А ведь не все эти сведения укладываются в два основных цвета: черный и белый. Многие деятели, даже те, которых считают прогрессивными, были людьми своего времени, и ничто человеческое им не было чуждо. К тому же над ними довели цензурные и иные условия. Поэтому разобраться в хитросплетении фактов, сведений, мнений, оценок, рассказать не только об отношении каждого из грузинских деятелей к русским литераторам, но и охарактеризовать данного деятеля так, чтобы читатель мог понять — где правда, что сказали и о чем умолчали источники, документы, свидетельства очевидцев, — дело крайне сложное. В рассматриваемых изданиях эта задача решена успешно.

Факты, мнения не только называются, но проверяются и перепроверяются на фактоло-

гической основе. В лермонтовском сборнике, к примеру, систематизированы данные, которые привели составителя к выводу, что не только во время своего пребывания в Грузии в 1837 году, но и в последующие месяцы своей недолгой жизни Лермонтов находился в живом общении с грузинами. Очерки В. Шадури о К. Х. Мамацашвили, В. И. Чиладзе, Х. Д. Саникидзе, в которых приведены факты их биографий, подтверждают мнение исследователя. Однако слуга Лермонтова в последний период жизни Х. Саникидзе охотно делился своими воспоминаниями о поэте, и в его рассказах имеются измышления (будто он был свидетелем дуэли поэта, который скончался у него на коленях по пути от поединка и т. д.). Установить степень правдоподобия каждого факта удастся лишь проверяя и перепроверяя его.

Не менее тщательная работа проведена по определению достоверности каждого сведения о пребывании Пушкина в Грузии. К сожалению, большая часть воспоминаний о поэте писалась много лет спустя после описываемых событий; поэтому многие факты могли забыться или трансформироваться в памяти мемуаристов. В. Шадури многое сделал для того, чтобы найти и проверить эти малочисленные данные, отвести недостоверные и недостаточно достоверные, а главное дополнить их из других источников. Особенно хочется отметить описание так называемого «общего праздника», данного тифлисским (а не тбилисским, как пишет В. Шадури) обществом в честь Пушкина, хотя и здесь осталось еще много сделать по расшиф-

ровке участников этого праздника.

Преимущественная ставка на факты в исследовательских очерках — явление уже апробированное. В таком духе, например, создавался аналогичный аппарат так называемого «юбилейного» издания произведений Л. Н. Толстого. Однако в четырех книгах новой серии четко выражено личное отношение составителя к Пушкину, Лермонтову и другим великим деятелям и их врагам. В нем улавливается восприятие их передовой грузинской общественностью. Подобное отношение свойственно В. Шадури с самого начала его деятельности по исследованию русско - грузинских литературных взаимосвязей.

Так, воссоздавая черты того противоречивого и интересно времени, составитель стремится выявить, как обстояло в Грузии дело с пропагандой русской литературы. С одной стороны, грузины учились в русских гимназиях и могли в подлиннике читать Пушкина и Лермонтова, но, с другой, в первой половине прошлого века не было ни переводов произведений Лермонтова на грузинский язык, ни статей о нем. Этому непонятному факту дается блестящее объяснение — их негде было печатать!

И только в 50-х гг. минувшего столетия положение меняется: начинает выходить журнал «Цискари», а затем и другие издания. Это и способствовало интенсивной популяризации в Грузии Лермонтова и других русских писателей.

Кстати, в сборнике говорится не только о том, в каких журналах публиковался поэт, но и приводится их история.

Определяется место произведений Лермонтова в борьбе передовых сил общества, их значение на разных этапах освободительного движения и т. д. Отмечается также и такое совпадение, касающееся юбилеев Лермонтова, — незадолго до столетней годовщины со дня рождения поэта началась первая мировая война, а за 36 дней до столетней даты гибели — фашистская Германия напала на СССР, и было не до этой даты...

Сборники рассчитаны на широкий круг читателей, и поэтому их научно-справочный аппарат, не превращаясь в комментарии сугубо научного типа, сохраняет и тщательность, и многогранность, и поучительность. Ознакомление с комментариями позволяет судить об их познавательной ценности, нацеленности на дальнейшие разыскания. Если источники и примечания к пушкинскому сборнику еще весьма кратки, то уже в лермонтовском — они более широки и глубоки, как и в последующих изданиях. А краткость комментариев к пушкинской книге следует отнести за счет поисков оптимального варианта. В последующих изданиях желательно было бы их расширить. Это вполне выполнимо, так как в связи с написанием работы обобщающего типа о связях Пушкина с грузинской общественностью В. Шадури располагает всеми этими материалами.

Тщательно составленные комментарии дают основание предполагать, что составитель задумал их как трамплин для последующих, более углубленных разысканий заинтересованных лиц. О каждом деятеле, чьи статьи,

письма цитируются или полностью воспроизводятся в сборниках, имеются краткие справки или очерки. Так, в книге о Грибоедове приведены концентрированные данные о Бестужеве - Марлинском, Полонском и других, причем каждое из сведений, если на это имеется основание, содержит указания на источник, что свидетельствует о высокой культуре научной работы. Отбор данных для комментариев самого необходимого материала идет от изданий популярного типа, а тщательность и доказательность сносок и примечаний — от строго научных изданий. В целом же получилось юбилейное издание в лучшем смысле этого слова.

Наконец, своеобразие сборников состоит в том, что в них наряду с произведениями, статьями, письмами самих писателей даются высказывания, статьи или выдержки из писем, речей грузинских деятелей о них, выбранные из тифлисской прессы. Наряду с этими данными — на правах такого же равноправного материала — даны исследовательские материалы, подготовленные В. Шадури. В таком творческом сплаве эти разнородные данные, «намагничиваясь», обретают единую направленность, благодаря которой широкий читатель, которому и адресованы эти книги, может получить объемное представление о многогранных грузинских связях четырех русских писателей, а ученые, работающие в этой области, — возможность углубить свои знания, расширить поле поисков. Это делает рассматриваемую серию своего рода итоговыми работами, в той или иной манере,

с той или иной мерой полноты концентрированно излагающими добытые в литературоведении данные. А это, в свою очередь, позволяет рассматривать их как положительное явление в изучении русско-грузинских литературных взаимоотношений.

Но на отдельные детали и положения хотелось бы обратить внимание, и вот в каком плане. В связи с различными проблемами в книгах лишь называют имена грузинских исследователей. Между тем их роль в изучении грузинских связей Пушкина, Лермонтова, Грибоедова и других писателей весьма различна. Если говорить об изучении вопроса, связанного с темой «Пушкин в Грузии», то тут на первом этапе исследований следует особо отметить С. Дanelia и Л. Асатиани, как на последующем — книгу В. Шадури «Пушкин и грузинская общественность» (1967), иначе роль каждого из исследователей в разработке данных проблем окажется стертой. Поэтому лучше отказаться от той краткости, которая приводит к нивелированию их заслуг. Ведь сказано же в лермонтовском сборнике об издании книг С. Дanelia об этом поэте.

Думается, обогатили бы книги сведения об экранизации произведений этих писателей в Грузии. О пребывании Пушкина в Грузии рассказано в картине «Путешествие в Арзрум», где вспоминается эпизод «общего праздника», данного в честь Пушкина обществом молодых людей, бывших на службе в Тифлисе, которым поэт читал стихи о назначении поэзии. По дороге в Арзрум он встре-

тил печальную процессию телом Грибоедова. Многие киностудии страны обращались к экранизации произведений Лермонтова, в том числе еще в 20-х годах Госкинопром Грузии. Правда, не все экранизации стали явлением искусства (так, в тифлисской интерпретации Печорин оказался не героем своего времени, а покорителем женских сердец, Казбич подсматривал за купающимися девушками и т. д.), но они вошли в историю советской кинематографии и могли бы дополнить наши представления о русско-грузинских культурных взаимоотношениях.

Поскольку тон повествования в книгах, в основном, суховатый, академичный, составитель их стремился придать ему эмоциональную окраску, которая кое-где, как говорится, перехлестывает через край. В лермонтовском сборнике, например, страница 113-я изобилует эпитетами типа — прославленный, великолепный, известный, замечательный, выдающийся, талантливый, превосходный, крупнейший и т. д., и хотя речь тут идет о больших деятелях грузинской культуры, большая сдержанность, пожалуй, выглядела бы солиднее.

Как правило, каждое сведение в книгах проверено и вносит ряд уточнений в укоренившиеся представления. Так, в связи с Лермонтовым рассказывается о личности мастера - оружейника Геурка. По ряду источников предполагалось его знакомство с Лермонтовым, но В. Шадури доказал, что Геурк умер раньше приезда поэта в Тифлис. Таково большинство исправлений составителя. Но можно указать и на такой факт: из

источников о В. И. Чилаеве он не упоминает сведений из архивов лермонтоведа С. Недумова (Исповедальная роспись Скорбященской церкви Пятигорска конца 30-х гг. XIX века), на что ему уже указали рецензенты.

Хотя мнение В. Шадури о том, что дочери А. Чавчавадзе Нина и Екатерина являются адресатами стихотворений Лермонтова, уже получило распространение, о трех его стихотворениях («Слышу ли голос твой», «Как небеса, твой взор блистает», «Она поет, и звуки тают»), согласно версии Р. Н. Николадзе, которой придерживается В. Шадури, еще нельзя говорить, как об установленном факте. Дело не только в том, что среди ученых нет единодушия в вопросе об адресатах этих произведений (Э. Герштейн считает их посвященными С. М. Вильегорской, Э. Найдич — П. А. Бартеновой), но и в том, что среди гипотез и утверждений Р. Николадзе, доказательных и интересных, встречаются некоторые предположения, которые нуждаются в более широкой аргументации. Среди них — предположения о связях Н. Бараташвили с русскими литераторами, об адресатах указанных стихотворений Лермонтова и других.

Четыре вышедших книги — начало новой серии. Аналогичные сборники можно составить и о других русских писателях, таких, например, как И. Тургенев, Л. Толстой, А. Чехов, Ал. Островский, М. Горький, В. Маяковский и другие. Создание такой серии о связях русских писателей с Грузией, которую они любили и которая стала поэтической родиной для многих из них, —

дело новое. Такой серии не издавала ни одна республика. Грузинское литературоведение, как считают многие читатели, показало пример глубокого, творческого исследования проблем межнациональных литературных связей. Инициатором этого начинания стал проф. В. С. Шадури, многое сделавший для упорядочения изучения русско-грузинских литературных связей. Он же является их составителем, автором комментариев и примечаний, кратких вводных статей и т. д. Короче, хотя его имя не стоит на титульном листе сборников, он по праву может быть назван их автором.

Книги получили отклик как у широкого круга читателей, так и у специалистов. Пишут академики, колхозники, специалисты, просто любители книг. Академик М. П. Алексеев, например, считает, что юбилейное пушкинское издание, содержащее множество действительно очень интересных материалов, портретов, иллюстраций, займет подобающее место в пушкинской литературе. Академик М. В. Нечкина находит, что книга о Грибоедове замечательно получилась. Нельзя без доброй улыбки читать искренние слова украинской колхозницы Е. А. Мудрейко, которая побывала на Кавказе, воочию увидела лермонтовские места и собирает книги о Пушкине, о Лермонтове. Прочитав сообщение о выходе книги «За хребтом Кавказа», она просит помочь ей достать это издание. «Низкий поклон и огромное спасибо», — пишут читатели этих книг. Присоединяясь к этим искренним словам, хочется пожелать продолжения работы над другими книгами серии.

Дмитрий ТУХАРЕЛИ

Абрам КАПЛАН

«ТБИЛИСИ — ОСНОВНОЙ СТАРТ МОЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

(ФРИДРИХ БОДЕНШТЕДТ И ГРУЗИЯ)

Среди многих западноевропейских путешественников и ученых (а к ним относятся такие видные деятели науки, как Т. Розен, впоследствии крупный востоковед-дипломат, Карл Кох — ботаник, директор Ботанического сада в Берлине, М. Вагнер и др.), посетивших в первой половине XIX века Тифлис, ставший уже тогда важнейшим культурным центром не только Грузии, но и всего Закавказья, особого внимания заслуживает Фридрих Боденштедт (1819 — 1892).

Его литературная и общественная деятельность на протяжении целых пяти десятилетий поразительно разносторонняя. Романы и рассказы, пьесы и стихотворные сборники, путевые и публицистические очерки, обширная мемуарная и эпистолярная литература — все это Боденштедт.

Проявил он себя и как театральный деятель, и театральный критик, и как лектор — профессор Мюнхенского университета (читал лекции по древнеславянской, а также по английской литературе).

Однако мировую славу Фр. Боденштедт завоевал благодаря своей переводческой деятельности.

За его переводами внимательно следил Н. Г. Чернышевский. «Посмотрите, какое прекрасное имя составил себе в немецкой литературе Боденштедт переводами Пушкина и Лермонтова», — писал он (см. Н. Г. Чернышевский, Полн. соб. сочин, т. II, М., 1949, с. 743). Его хвалил и Герцен (в книге «Из русских рукописей»).

Отдельные переводы Боденштедта пушкинских прозаических текстов были включены в 6-томное издание произведений А. С. Пушкина, появившееся в ГДР в 1968 году.

Он переводил и прозаиков пушкинской школы, украинские и белорусские народные песни, стихотворения Кольцова и т. д.

Большое значение для немецкой литературы имеют его шекспировские переводы — сонетов (1860), а также всех драматических произведений (в 9 томах), — выполненные вместе с Гервегом, Гейзе и другими.

Начало продолжавшейся всю жизнь работы по ознакомлению немецкого, а впоследствии европейского и американского читателя, с выдающимися явлениями восточной поэзии связано с тбилисским периодом жизни Фр. Боденштедта.

Уже на склоне лет в своих «Воспоминаниях» он напишет: «Если я теперь указываю на Тбилиси как на основной старт, исходную

точку всей моей литературной деятельности, так это потому, что именно там мне была дана возможность глубже, чем где-либо в другом месте, увидеть, понять человеческое добро (в человеке), именно там я получил творческие стимулы, благородные отзвуки которых сейчас, спустя целый человеческий век, еще звучат в моих ушах, в моей душе на разных языках.

В России (в Москве) Боденштедт появился в 1841 году по приглашению князя Мих. Голицына, воспитателем детей которого он работал два года. Но его особенно привлекал далекий Кавказ — «колыбель всего нашего человеческого рода» (см. введение к Полному соб. соч.).

В октябре 1943 года он прибыл в Тифлис с тем, чтобы работать преподавателем немецкого языка в местном училище. Одновременно давал также частные уроки.

Годы пребывания в Грузии были для Боденштедта временем интенсивных поисков и узнавания новых интересных людей и мест. Это был звездный час его жизни.

Здесь он познакомился с замечательным армянским писателем-просветителем Хачатуром Абовяном, руководителем уездного училища, который оказал ему, как и другим путешественникам, прибывшим в Грузию, услуги по сбору и переводу различных сведений историко-этнографического, культурно-бытового характера. Вместе с ним он совершает поездку в Армению.

Боденштедт был знаком и с грузинским поэтом, основоположником грузинского профессионального театра, драматургом Георгием Эристави, вернувшимся в 1841 году из семилетней ссылки в Польше.

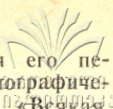
Вместе с ним, а также с выдающимися деятелями азербайджанской литературы М. Ф. Ахундовым и А. К. Бакихановым, с поэтами Мирза-Шафи, Закиром и другими он участвовал в организации литературного общества, которое в тот период было известно под названием «Диван Хикмет». (Интересно отметить, что в Гос. музее им. Низами в Баку демонстрируется большой групповой портрет перечисленных выше членов этого литературного общества).

В свою очередь Боденштедт знакомит поэтов с произведениями западных классических авторов, и прежде всего немецких: Гедера, Гете.

Решающее значение для его дальнейшей литературной судьбы имело знакомство с азербайджанским поэтом, мыслителем, педагогом Мирза-Шафи Вазехом, у которого он обучался восточным языкам, восточной мудрости, благодаря которому мог переводить стихотворения восточных поэтов.

В этот период Фр. Боденштедт совершает длительное путешествие по Грузии. Он тщательно наблюдает здесь все и записывает свои впечатления. Его привлекают образы природы Грузии, страна и ее люди, культурные памятники, специфика жизни в самых отдаленных горных местностях, нравы их жителей. Собранные им сведения из истории грузинского народа, некоторые из древних сказаний были впоследствии использованы в его произведениях.

Путевые впечатления, полученные в Грузии, нашли отражение в книге Боденштедта, появившейся уже после его возвращения в Германию в 1850 году под названием «Тысяча и один день на Востоке» (этнографический роман вроде «Тысяча и одна ночь» — по определению критиков) и пользовавшейся успехом (в 1859 году появилось третье ее издание).



Характерная особенность произведения — необычная его простота, жанровое и стилевое разнообразие. Наряду с этнографическим и фольклорным материалом (есть и такая глава «Всякая всячина о Грузии») в нем содержится и обширный литературный материал; это и народные сказания, записанные во время путешествия по Кавказу (например, «Сказание о Давиде и Константине»), и собственные поэтические произведения «Казбек», «Терек», а также переводы восточных поэтов — Хафиза, Хайяма, Физули. В этой же книге впервые появились переводы стихов «мудреца из Гянджи» Мирза-Шафи Вазеха.

Книга имела крайне восторженный прием и принесла Боденштедту огромную славу. Она стала своего рода сенсацией XIX века, первым европейским бестселлером. Достаточно сказать, что начиная с 1860 и до 1922 года, ежегодно выходят два или три ее издания. В общей сложности это составило 169 изданий в количестве 290 тысяч экземпляров. По справке современной немецкой библиографии, книга выдержала около 300 изданий.

Вскоре появились и переводы на другие европейские языки — на английский, французский, польский, чешский и т. д.

Первые русские переводы отдельных стихотворений Боденштедта принадлежат М. И. Михайлову, поэту-каторжнику, другу Чернышевского, и И. Ф. Якубовичу, поэту-народовольцу.

В первой половине XIX века Грузия становится богатым источником творческого вдохновения для многих русских и европейских писателей. Появляются книги, статьи, посвященные этой далекой стране.

Немаловажную роль в этом процессе сыграл Фр. Боденштедт. Одной из первых книг, изданных им после возвращения из Грузии в Германию, была его работа «Народы Кавказа и их борьба... за независимость» (1848), содержащая богатый исторический и этнографический материал.

Мотивы грузинской жизни послужили художественной канвой его рассказов и повестей, издаваемых спустя десятилетия. Таков, например, сборник рассказов «Маленькие истории из далекой страны» (рассказ «Тамара из Гурии»).

Фр. Боденштедт до конца жизни интересовался Грузией, ее бытом, нравами, языками. Об этом свидетельствуют высказывания, записи, статьи многих ученых, писателей, посетивших Боденштедта в разное время.

Он создавал прозаические и стихотворные произведения на материале жизни грузинского народа, отмечал новые проявления культурной и литературной жизни Грузии. Так, например, им первым был помянут добрым словом (см. Воспоминания, 1888, с. 299) Артур Лейст, писатель и журналист, немец, проживавший в Тифлисе, «истинный почитатель Грузии», «друг грузинского народа» (таким его считали Н. Николадзе, И. Чавчавадзе). Речь шла о начальной фазе деятельности Лейста, впоследствии ставшего переводчиком поэзии И. Чавчавадзе, А. Церетели и других грузинских поэтов.

Фр. Боденштедт сыграл значительную роль в активизации процесса развития европейской культуры XIX века, в сближении разноязычных литератур. В многовековой, разносторонней истории грузино-немецких культурных отношений деятельность Фр. Боденштедта занимает особое, весьма важное место. Многие стороны этой деятельности требуют дальнейших исследований.

Ю. Н. МАРР В СИРИИ

...Тбилиси, улица Энгельса, 44. Здесь (а в летние месяцы в Абастумани) провел последние годы своей жизни талантливый советский иранист Юрий Николаевич Марр (1893—1935). Здесь и сейчас проживает вдова покойного ученого Софья Михайловна Марр. С поразительной преданностью посвятила она всю свою жизнь интересам супруга: дважды сопровождала его в поездках по Ирану (в 1925 и 1934 гг.), занималась вопросами этнографии и лексикологии (ее работы по персидской свадьбе и мохаррему опубликованы), вела дневники, ухаживала за тяжелобольным, но до последних дней не бросавшим научной работы мужем.

Однако главная цель ее жизни, ее верность проявились после безвременной кончины Ю. Н. Марра. Она стала собирать по крупицам его архив, разбросанные по отдельным листкам наброски, планы, мысли, неопубликованные работы, словарные карточки, письма, стихи, рисунки. При его жизни был подготовлен лишь первый выпуск серии «Низами, Хакани, Руставели» (1935) и «Документированный персидско-русский словарь». (1934). Вскоре после смерти ученого под редакцией И. В. Мегрелидзе были изданы два тома его «Статей и сообщений» (1936 и 1939 гг.).

В 1950 году друг Ю. Н. Марра, мой учитель В. С. Путуридзе познакомил меня с С. М. Марр. Вот уже тридцать лет мы с ней работаем над архивом. За это время нами были подготовлены и изданы несколько статей и два тома интереснейшей переписки Ю. Н. Марра с Н. Я. Марром, В. В. Бартольдом, И. Ю. Крачковским, К. И. Чайкиным («Низами, Хакани, Руставели», П., 1966; «Письма о персидской литературе», 1976). Параллельно с архивной работой С. М. Марр написала книгу о жизни и деятельности Ю. Н. Марра. Это — биографический роман, названный ею «Материалы к биографии Ю. Н. Марра». С большим художественным тактом и глубоким знанием фактов описаны детство, юность, становление будущего ученого. Одна глава из этой книги («В Тегеране») была опубликована («Мацне»). В настоящей публикации читателям «Литературной Грузии» предлагается глава о студенческой жизни Ю. Н. Марра, о его поездке в Сирию (1914 г.) для практического изучения арабского языка. Эта глава, как и вся книга, написана на основе дневниковых записей самого Ю. Н. Марра с привлечением его стихотворных и прозаических отрывков.



* * *

В 1914 году, летом, Юрию Николаевичу Марру удалось осуществить свою давнишнюю мечту — побывать на Ближнем Востоке.

В то время он учился в Петербургском университете, на Восточном отделении и изучал арабский язык, которым чрезвычайно увлекался. Самая трудность овладения его внешней звуковой структурой, казалось, еще более подстрекала его увлечение. Созвучия еще незнакомого языка воспринимались им как музыка, необычайно своеобразная и волнующая. За ней был народ. «Язык — душа народа», — слышал он от отца, которому писал спустя два месяца после начала занятий: «...с наслаждением удивляюсь своим познаниям в арабском, читаю басни Локмана...»

Впечатления детства, сказки «Тысяча и одна ночь», Кавказ, хранящий воспоминания о былой связи с Междуречьем (идеи Н. Я-ча), армянский царь Гагик в чалме с наперсным крестом на груди — все его влекло к этому заманчивому Востоку. А больше всего, быть может, его пленяла поэзия, с которой онзнакомился на лекциях профессоров Н. А. Медникова и И. Ю. Крачковского. Ее необычайная концентрированность, точность, сжатость и образность представлялись ему пределом совершенства.

«...1914 год — в Сирии. Служба в монастыре, погонщик мулов, похищение аравитянки, полное банкротство, бегство из Дамаска, роман с таможенным чиновником, отъезд после ограбления Сморгжевского...»

Такова шуточная канва пребывания Юрия Марра в Сирии летом 1914 года, данная им самим. Трудно восстановить истину по этому краткому, несколько озорному перечню.

Писем того времени не найдено, дошла до нас только одна записная книжечка, приобретенная им в Бейруте. В ней ряд адресов, написанных по-арабски, стихов арабских, записанных чужой рукой, ряд текстов в русской транскрипции, зарисовки предметов материальной культуры, терминология. Обмер какого-то храма, подробное описание икон с беглыми рисунками, наброски стихов. Сохранилось несколько фотографий.

На первой странице написано: «10 июня до 10 августа». Далее: от Бейрута до Дамаска

	1 день
в Дамаске	3—5 дней
Бейрут	1 день
Яффа	1 »
в Иерусалиме	1 »
в Иерусалиме	3 дня

Осуществил ли он план поездки? Война 1914 года, начавшаяся в июле, разрушила его расчеты.

В большой зеленой книге, где в беспорядке писались стихи 1914 — 1917 годов, набрасывались головы, профили, ноги, встречаются и разрозненные кусочки, относящиеся, очевидно, к лету 1914 года.

Сюда же относится и ряд стихотворных набросков. Несомненные отзвуки этого путешествия можно уловить и в

рассказе «Город Четырех Алмазов», где мечты об Ани слились с впечатлениями о Сирии, где фантастическое смешивается с реальным.

В июне 1914 года Юрий выехал в Одессу: оттуда на пароходе он должен был следовать в Сирию через Бейрут.

Первоначально у него были другие намерения. Он хотел ехать в Аравию через Кавказ и Месопотамию, а затем пересечь Аравию с севера до Хадрамаута и Йемена, но И. Ю. Крачковский отговорил его от этого. Он настаивал на том, что совершать подобное путешествие без знания языка невозможно и что лучше сначала ехать в Сирию и изучить живой арабский язык.

Юрий не знал, что родители, взволнованные идеей этого необыкновенного путешествия, просили Игнатия Юлиановича как-нибудь отговорить его от этой затеи, потому что привыкли с детских лет его к тому, «что он не останавливается перед попытками осуществления самых невероятных проектов».

Было не было... Пароход подходил к городу. Снежная верхушка Сайнина плыла над головой в лазури неба... Внезапно горы выступили из дымки тумана: казалось, они нависали над морем, со своими монастырями на вершинах и деревнями на склонах. Город, расположенный амфитеатром, доходил до самого моря. Краснели крыши домов, желтели скалы, зелень всех оттенков от темных кедров Ливана до светлой, почти серой листвы оливок чудесно освежала картину. Было жарко. Яркий белый свет уничтожал перспективу. Пейзаж казался плоским и нереальным.

Чем ближе подходили к берегу, тем яснее рисовался город. Вот он, Восток! Здесь не было ослепительной сверкающей красоты Стамбула, но строгое величие Ливана, простирающего свои глыбы на север и юг, с монастырями и крепостями, венчающими его верхушки, глубокая синева моря, золотой песок берега с растущими на нем одинокими пальмами, красный песок холмов, — все было захватывающе, до боли прекрасно. Здесь было нечто большее, чем красота. Казалось, это преддверие иного мира.

Юрий помнил хорошо уроки отца и дяди, профессора Петербургского университета, и других своих учителей, которых он слушал на лекциях. Все они предостерегали от ходячего противопоставления Востока Западу, от привычных культурно-исторических шаблонов, определяющих все самообитное как «экзотическое».

Надо помнить, что Восток и Запад — единая мировая культура. Мечтательный Восток роз и соловьев, Восток сказок и романтики — европейская выдумка, внушающая всегда такое отвращение его дядюшке, Василию Владимировичу Бартольду. Настоящий Восток живет единой материальной «страждущей и трудовой жизнью с Западом», — так думал и его отец.

Он все это знал, но его воображение искало необычайное и волнующее, и, казалось ему, Восток скрывал это в себе.

В Ливане еще господствовали старые формы жизни. ^{Ка-}залось, человек здесь не противопоставлял себя природе, ^{он} был с нею заодно. За жизнью сегодняшнего дня так ^{ярко} ^и ^{вы-}ступало богатое прошлое этой страны, древние истоки ^и ^{идеи} ^и ^{сознания} человека. Здесь были заложены «таинственные пласты» (Н. Я. Марр) общечеловеческой цивилизации. Здесь прошла разнообразная, бурная и плодотворная жизнь многочисленных народов, потомки которых составляют сложное население стран так называемого Ближнего Востока.

...Набережная была усеяна народом, все было полно движения и звуков. Мелькали стройные фигуры арабов в разбегающихся одеяниях. Слышалась их гортанная речь, перебиваемая мрачными стонами верблюдов, которых, разгружая, заставляли сгибать колени. Турки и левантинцы в фесках, европейцы в шляпах, дети в цветных тряпках, все толкалось, кричало и махало руками. Юрий был оглушен и одновременно захвачен этим кипящим людским потоком.

Бейрут в то время представлял собой средоточие арабской литературной жизни. Здесь был свой круг деятелей профессионалов — литераторов, литературоведов, журналистов. Абдулгамидовский режим, с 1890-х годов вызвавший эмиграцию многих видных деятелей, связал Сирию с Европой и, главным образом, с Америкой. Народился новый вид литературы, сиро-американский. В Бейрут стремились с периферии наиболее талантливые люди, Бейрут общался со всем миром. Здесь же можно было встретить блестящих представителей европейской науки: почти все, кто ехал в глубь Азии, ехали через Бейрут.

С 1906 по 1910 год в Бейруте жил молодой, европейски известный арабист И. Ю. Крачковский, один из самых глубоких знатоков арабской литературы. Он много работал в библиотеках Бейрута и Каира над арабскими рукописями, да и не только в библиотеках. В редакциях журналов, в книжных лавках, в кафе, на маленькой пригородной станции, в случайном разговоре ловил он обрывки стихов и фраз, стремясь постигнуть дух народа и его поэзии. Он был поражен, как быстро развивалась новая арабская литература, так мало известная Европе, за ней стоял народ, мечтающий о национальном освобождении, о новой земле.

Игнатий Юлианович приобрел много друзей в Сирии. С его рекомендацией явился Юрий в темноватую «Восточную библиотеку» университета св. Иосифа, полуфранцузского, полуарабского учреждения. Здесь его ласково встретил хранитель библиотеки Шейхо, уроженец Месопотамии, «насыщенный как губка арабской литературой», по выражению Игнатия Юлиановича, вечно занятый корректурами своего журнала. Он познакомил Юрия со своим другом, дамаскинцем Сальхани, тонким знатоком поэзии и сказок «Тысяча и одной ночи».

Встречался там Юрий и кое с кем из европейцев, например, с Розенваллем, учеником Барбье де Минар, большим знатоком диалектов. И сам он чутко прислушивался к языку и уже начал понимать быструю речь арабов.

Отец Юрия, Н. Я. Марр, на его месте вел бы углубленные и планомерные занятия и сидел бы в монастырях и библиотеках. Его любимый профессор И. Ю. Крачковский дни и ночами работал в «Восточной библиотеке» над рукописями или ездил в поисках литературных материалов, а Юрия тянуло на широкую тропу, где ночью под звездным небом движется вереница верблюдов; они идут танцующей походкой, жеманно поводя головой, их колокольчики призывно перекликаются. Много лет спустя он вспомнит эти звуки:

В глуши на крыше сядь и слушай,
Как караван вдали идет...
Уходят... мягче, тише, глуше...

Он готов был всю ночь слушать эту музыку:

Свети, свети, луна, сверкайте, звезды,
Вращайся, свод небес, назавтра, как вчера,

Звучи, призывный глас,
И звук верблюжих стоп,
Прельщай всю ночь мой слух.

Днем ему нравилось наблюдать, как в горячем воздухе плывут горы, плывут замки на вершинах гор, маячат миражи. Ему нравилось болтать в кахве-хане¹ с арабами, пить горький кофе из маленьких толстых чашечек и брести неизвестно куда за караваном, слушая напев колоколов.

Открыта дверь. Навьючены верблюды.

Вот колокол уныло скажет «в путь!»

И караван потянется отсюда

На новые места куда-нибудь.

И я пойду за ним. Куда? Не знаю:

Я всюду двигаться готов.

Ночь беспросветная, беззвучная, немая, —

Ее наполнил гул колоколов.

Мне посох странника укажет все дороги

Семью и дом заменит караван,

Под звон колоколов мои босые ноги

Покроет прах далеких стран.

Он вдруг взял да и поступил в какой-то монастырь в Ливане. Ему хотелось не столько изучать и наблюдать жизнь, сколько в ней участвовать. Он не был религиозен, но эмоционально и эстетически не мог не реагировать на проявление культа, который нес в себе почти двухтысячелетнюю давность, сохраняя старые пережитки древности, особенно замечательные здесь, на месте религиозных переживаний и потрясений. В монастырь его звала не молитва, а поэзия:

Брат, оставим скучную молитву,

Спрячь под камень четки...

Он не мог остаться равнодушным к прелести величественной природы, свидетельницы минувшего, рождающей в нем пантеистические настроения:

¹ Кофейня.

Эй, брат! Выходи за мной,
пойдем на простор.

Три хора поют: цветов, потока и гор...

Природа эта оставила в нем глубокий след. Тогда, в какой-то момент он запечатлел свое душевное движение в трех строках:

Чаша водки, смешанной с водою,
Свет лампы, тихий вечер летом,
Вкруг часовни, слышишь, козодои...

Любопытно проследить, как этот мотив, зародившись где-то в Ливане, через долгие годы звучит как будто неожиданно в небольшом стихотворении, написанном в Тифлисе в 1912 году:

Чаша водки, смешанной с водою.
Темно-бурый камень, вороной, могучий.
Спускаются, взлетают, как стрелы, козодои,
Земли кругом касаются, опять летят под тучи...

Цветами усыпаны горные долины,
Мрачные снегами убраны вершины,
Огонь вдохновения, смешавшись с влагой,
Печень наполняет через край отвагой.

Эй! Хай! Господи, я большего не стою.
Мне всего достаточно в подснежниках над кручей —
Чаша водки, смешанной с водою,
Темно-бурый камень и бегун могучий.

Этот же мотив отражен в его небольшой поэме «Емгай Иоама», написанной в 1928 году, которая начинается стихами, набросанными также в Ливане:

На уютистой постели
Пятна снежные блестели,
А степей могучий вздох,
Без пути и без дорог,
Унося куда-то пыль,
Гнул к земле седой ковыль.

Без желаний, без тревоги,
На неведомом пороге,
Я гляжу, как облака
Путь ведут издалека.

Как назывался монастырь, где он пребывал?
В письме к И. Ю. Крачковскому Юрий упоминает монастырь Мар-Ильяс, где было тридцать русских монахов и два араба. «Хотели было, чтобы я посещал все службы, но не вышло». «живу в хороших с ними отношениях, околачиваюсь в Шувейре, Бтерине и у бедуинов. Разговор бедуинов приятнее шувейрского...».

Развожу я чистый спирт теплым чаем,
Шепот гордых нежных мирт нескончаем.
Голос моря так тосклив, пахнет йодом,

Нет прохода в мой залив пароходам.
Плачут волны в полусне тихим хором,
Не видать уж больше мне новых фором.



С кем он общался в монастыре? С кем говорил по-арабски? Возможно, там были арабы-христиане, а может быть и еврей-христиане. В Хальфе он встречался, например, судя по записи, с неким Ибрагимом, который говорил по-арабски, по-французски, по-английски и по-итальянски. Семнадцать лет работал Ибрагим во французском монастыре, был христианином.

Можно ли считать отголоском пребывания Юрия в монастыре отрывки, разбросанные на листах его тетради 1914—1915 годов о пустынноике, о старце, стремящемся к богу, о человеке, убивающем свою плоть? Был ли это пустынноик его сказки «Город Четырех Алмазов», или это были отзвуки каких-либо арабских сказаний, мусульманских или христианских? С детства он слышал обо всем этом в кабинете отца, но схватывал художественную сторону этих рассказов. Ему хотелось пережить или изобразить это. Самая идея нравственного совершенства всегда занимала его. Воспитание внутренней силы путем духовной тренировки и самоограничения входило в круг его работы над собой: сосредоточение мыслей, развитие воли путем отказа от желаемого; иногда он спал на доске, дабы приучить себя к лишениям: голодный отказывался от пищи; но не всегда был уверен, что это правильный путь:

Святость в отречении? Нет!
Добрая душа и сильная рука —
Вот черты теперешнего святого.

И все же в Ливане он был захвачен внутренним углублением в себя и богоискательством, которым жил Древний Восток. Вел ли он беседы со старцами?

В своей повести «Город Четырех Алмазов» он рассказывает о старце-отшельнике, которого посещает герой. Это искатель истины; она является для него богом, он ищет ее во всем и прежде всего в самом себе. В поисках истины переходит от одного бога к другому и, достигнув высшего, идет путем, «который не имеет правой или левой стороны и не идет вверх или вниз, вперед или назад, но вечно имеет одно направление».

Такова туманная философия, которую Юрий вкладывает в уста своему старцу, до некоторой степени желая, быть может, выразить те мысли, которые волновали его в то время.

«Захватив фляжку воды, прошел я через высокие ворота и вступил в пустыню. Поверхность там почти гладкая, холмов мало. И лежат камни желтые и красные, есть и белые камни, блестящие и тусклые. Но больше всего там серых камней, они круглые и тяжелые и подобны железу на ощупь и на вид... Когда настал полдень, я пришел и увидел пустытника...»

Сидел у пещеры и слушал его. Закат из желтого делался красным, на востоке вспыхнула звезда, похожая на широ-

ко раскрытый глаз, за ней показались другие, и быстро наступил мрак. В пещере не было огня. Старик не добывал его с тех пор, как ушел от людей.

Он сказал: «Я выбрал это место, потому что никто его не посещал. Ты второй человек, которого я видел здесь. Найдя пещеру, я постился и думал о том, что есть мир и в чем вечность. Я увидел, где правда, и созерцал Вселенную. Но потом это закрылось, и я вернулся к прежнему знанию, знанию человека. Это было давно, я знаю, хотя и не измерял времени. Все была истина. Я видел ее, осязал, ощущал всеми чувствами, но словами не мог бы рассказать, потому что мы не имеем таких слов. И наш язык непригоден для суждения об этом. Я видел Закон жизни и границы Бесконечности, и ошибки всех людей...».

В тетрадах Юрия сохранились также разрозненные отрывки о старце, стремящемся к богу-солнцу, о человеке, убивающем свою плоть в поисках счастья.

Были ли это отрывки подражанием или попытками перевода? Частые и отрывочные записи одного и того же в разных тетрадах говорят скорей о настойчивом образе, который преследовал его и который он пытался художественно воплотить. В этих отрывках интересна попытка дать местный колорит и соблюсти «библейский стиль».

Он пытался написать стихотворение на размер «камель»

Беги, мой конь. Уноси меня из города.
Печальный снег седины усеял бороду.
И следы колес любви и зла на лице моем.
Я прожил свое. Я прошел свой путь. Я уснуть хочу.
Беги скорей. Поражай копытом пыльный путь.
Тоски утес на моей груди не дает вздохнуть.
Я прошу судьбу. Я молю ее: обо всем забудь.
Но она молчит. Чего нельзя, нельзя хотеть.
И в кладезь смерти я много лет готов взглянуть.
Поражай копытом путь, а там будь, что будь.

Прожив какое-то время в Ливане, Юрий отправился пешком в Дамаск. Языком он уже владел.

Было, не было... Он плелся по дороге широкой, ровной и прямой. Растительность исчезла. Встречался только жалкий кустарник. Вдалеке направо виднелись друские деревушки. Налево вздымались гигантские скалы Ливана. Острые вершины его кутались в облака, сквозь которые виднелись монастыри и церкви. Солнце пылало, воздух, казалось, был ослепительно бел, и тысячи раскаленных частиц металась в нем.

Юрий шел с погонщиками мулов. Он устал, сапоги износились, ноги были изранены и болели. Голова была замотана платком, он сильно загорел и стал похож на араба. На встречу шли караваны. Верблюды, двигаясь кривой цепью, качая на ходу свое длинное узкое тело, несли поклажу. Погонщики шли рядом; на их обнаженном торсе висели тряпки, нижняя часть тела была замотана фартуком.

Иногда встречались верблюды, разукрашенные как жемчужины в гареме; на шее у них висели голубые ожерелья, спускались пестрые покрывала, на спине лежала расшитая покрывалка; длинномордые и большеротые, с полужакрытыми глазами, они таили бог весть какие мысли; быть может, некоренность и презрение к своему поработителю, человеку. Но они были прирученные, и томление их было бессознательным. Это когда-то давно было не с ними, что их воспевали поэты, и песнь эта «му'аллака» на золотой цепи висела в священной Каабе,¹ как награда поэту. Впрочем, Игнатий Юлианович относился иронически к этой «выдумке».

Тогда они были подругами благородного бедуина, который, после измены возлюбленной, утешался тем, что мчался в пустыню на верблюдице, и хотя она была измучена набегами, и кожа ее прильнула к костям, и деревянные ее подковы были сбиты, она была весела в узде и неслась, словно белый клочок паров, оставшихся на небе от тучи, которую вечером гонит южный ветер.

Так писал об Аравии сто лет тому назад влюбленный в нее ученый О. И. Сенковский, который в молодости жил в католическом монастыре Дейр-Мар-Якуб, где со стойкостью и увлеченностью подвижника, отдавался изучению арабского языка. Он хорошо был известен среди арабов под именем «Хаваджа Юсуф», за свою ученость был признан «фейлусуфом», а прекрасное знание арабского языка и умение говорить на нем заставляло его собеседников утверждать, что он не франк, а настоящий Ибн-эль-Араба, то есть, арабский сын. Он страстно увлекался своими занятиями, звучность арабского языка казалось ему похожей на серебряный голос колокольчика, заключенного в человеческой груди. Он рвал горло, часами упражняясь в произношении этих неподражаемых звуков. Он сидел на скалах, и черные утесы, казалось, вторили его усилиям. А в своей маленькой келье он целые ночи проводил над чтением и списыванием рукописей.

Юрий легко и непринужденно перекидывался словами со встречными. Он запоминал их интонацию и жесты. Они были веселы и экспансивны, они могли сделать десять верст по жаре и потом прыгать и танцевать как дети, или предаваться какой-нибудь игре, «фантазии», как они говорили.

Расставшись с одними, Юрий встречался с другими.

«Мархабан, — сказал мне бедуин. Он сидел боком на осле, свесив свои ноги в больших высоких сапогах.

— Мархабтайн, — ответил я.

— Куда идешь?

— Направо, на север.

— Ты грек? И не итальянец? Не мсови? Русский? Не видал. Благословение. Пойдем ко мне в палатку. Не скоро я выпущу тебя оттуда. У меня прекрасная вода. И накормлю тебя. Жена моя ласкова. И красивая дочь. Я выдам ее за тебя, когда она подрастет, и ты будешь моим сыном... Не ходи в палатку шейха, он хоть и шейх, да собака, верблюжий зад.

¹ Храм в священном городе Мекке.

— Балия, — закричал он, — Балия, прохлада моих глаз, — и он взял на руки слюнявую девочку лет четырех, она давно не вытирала носа, и оттого на верхней губе ее образовалась короста...».

(Из большой зеленой книги)

Юрий провел время у него, и был в гостях у шейха, и записал пословицу: «Спросили у мула, кто твой отец, сказал: конь мой дядя».

...Шли ночью, но иногда захватывали и день. Юрий слушал пение погонщиков, которому так необычайно соответствовал ход верблюда; все это гармонично сливалось в одно, и непонятно было, верблюды ли шагают под пение, или ритмическая поступь их рождает мелодию.

Он видел, как иногда сидящий на верблюде тихонько пел стихи, ударяя палочкой по седлу, под мерный ход верблюда. Он вспоминал известный рассказ Исхака, приводимый у Алия Исфаганского, о знаменитом мастере Мабеде:

«...Мабед на вопрос, как он сочиняет мелодию, отвечал:

— Сажусь на своего верблюда и, ударяя в такт тросточкой по седлу, напеваю стих, куда тон не удовлетворит меня».

Зимой, слушая об этом на лекциях, Юрий был очень заинтересован; ведь он сам писал стихи, и ему всегда хотелось не бормотать их, записывая, а петь; мелодия рождалась раньше слов. А сейчас он был просто потрясен тем, как естественно и легко человек в своем труде сливался с природой, и из этого слияния рождалось искусство.

Пустыня, звездное небо, ночная прохлада, шуршание песка, качание верблюда — стих и мелодия. Это было незыблемо, так шло из века в век, арабский язык почти не менялся, стих был неотделим от пения и носил печать той же сухой и страшной красоты, как пустыня и горы Ливана.

Да, это была особенность Востока. Там, на Западе, жило стремление подчинить себе природу, здесь — понять ее и примениться к ней; здесь еще чувствовалась живая связь человека с ней. Да, прав Амин Рейхани, здесь природа для человека являлась источником его жизни, и вдохновенные ритмы ее определяли ритм его жизни и его труда, и творчества. Говорить стихами здесь было настолько естественно, что даже бранились с рифмой, а маленькие голые и полуголые оборвыши на всякий вопрос отвечали двустушием. «У бедуина не бывает насморка», — так они объясняли способность к поэзии (Сенковский).

...Песок шуршал под ногами, дул жаркий ветер, перекатываясь, гудели, как боевые трубы, тяжелые круглые камни. Казалось, в этой пустыне никогда не бывает тишины. Даже при малейшем ветерке песок с шумом катился с холмов: это была музыка песков, и словом ремель, что значит «песок», бедуин, сын пустыни, чуткий к ритму, назвал стих — неровный, зыбкий, неустойчивый, который «сыплется неравномерно, как песок, охваченный бурей, срывается и скатывается по косогорью» (Гинцбург).

— Здесь стихи рождались из камней, а ветер нес их над пустыней, и их ловил, кто хотел, и пел:

В лунной тишине
Еду на коне.
Кругом ни души,
Черр! Черр! Не спеши.
Неба черный лик
К матери приник,
И нежно глядит
Луны светлый щит.
Мерен стук копыт,
Прошлый день забыт,
Шлю жизни хвалу
В прохладную мглу.



Было не было... «Я шел уже седьмой день и устал. Был тихий светлый вечер. Солнце успело зайти и усердно красило в теплый цвет прозрачную воду бесчисленных каналов, пересекавших сочные луга страны Великих стен. Дорога широкая, ровная и прямая, как линейка, делила их пополам от горизонта до горизонта. Я плелся по ней, шлепая полуоторванными подошвами, и смотрел вперед, ожидая увидеть очертания прославленного города. Мне надоело ночевать на дороге.

Вдруг я задел ногой за какой-то сверток. Передо мной лежал тщательно скатанный ковер. Я осмотрел его, не развязывая. Он был новый и очень тонкой работы. Кто-нибудь уронил его. Я положил его на плечо и пошел дальше. Денег у меня не было уже ни копейки, так что этот ковер являлся единственным подспорьем. Не прошло и получаса, как я наткнулся на отдыхающий караван. Один верблюд был разгружен, тюки развязаны, и в них возились люди. Не успел я сообразить, в чем дело и чего они там копаются, как один из них подбежал ко мне и стал отнимать ковер, радостно визжа. Я ударил его ногой в бок и выругался. Тотчас от тюка поднялись две одинаковые головы с жиденькими усиками и бородками, и одна сказала другой по-персидски:

— Тоже оттуда.

— Тоже оттуда, — подтвердил я. — Это ваш ковер?

— Наш, — согласился один из них. — Ты как сюда попал?

— Пришел, — ответил я, — а вам, кажется, тут тоже быть не полагается.

— Пойдем чай пить, — уклончиво ответил тот, виновато заморгав глазами.

Тут я увидел, что люди разные, у одного были все зубы, у другого не хватало двух верхних зубов.

Пока слуги укладывали снова тюк, мы расположились у костра, где в котелке кипела вода.

— Слуги тоже оттуда? — начал я.

— Нет, эти из Медного Горла, бери сахар.

— Спасибо. Я хочу сегодня поспеть в город.

— Пей, не торопись, пойдешь с нами, поспеешь.

— Дело есть? — сказал второй.

— Не без этого.



— Ты сам из какого города?

Я сказал.

— Не перс?

— Русский.

Они замолчали. Потом мы долго сидели и пили чай. Когда кончили, старший сказал:

— Меня зовут Махмуд, а это брат Эмин.

— А я Джирджи, — ответил я.

— Нитай, писай умеешь? — спросил вдруг по-русски Эмин.

— Умею, — удивился я.

— Хорошо, — засмеялся он и похлопал меня по спине.

— Он хаджи, — объяснил Махмуд, — в Мекку ездил, а сын у него в Казани, так он у сына в гостях немного жил, там по-русски научился.

— Верблюд готов, — сказал подошедший слуга.

— Пойдем с нами, — предложил Махмуд, — ты ведь и по-персидски писать можешь.

— Могу.

— Хочешь с нами, у нас служить будешь?

— Хочу, — сказал я.

Мы двинулись и до полуночи вошли в прохладный город Великих стен».

Этот Гирги сирийских записей выступает как Джирджи написанного им рассказа «Город Четырех Алмазов», отрывок из которого мы привели выше. В этом рассказе Ю. Марр описывает, как он пил за ужином у гостеприимного хозяина тыкву «благословенного напитка», участвовал затем в войне с жителями Города Четырех Алмазов, прошел через Красные Горы, попал в ущелье с бархатно-черными скалами и невиданными цветами, пил из Красного ручья воду, вкус которой превосходил всякое представление о приятном, беседовал с отшельником Красных гор, затем попал в страну Тюфф, в страну людей с птичьими головами, которыми управлял мудрый и справедливый Пнуфт. Здесь наподобие Гулливера был он опутан нитями и попался в плен...

Но был не только Гирги-Джирджи фантастических рассказов, был и молодой Юрий Марр, студент Петербургского университета. Он изучал живой арабский язык, знакомился с новой арабской литературой, бывал в «Восточной библиотеке» университета св. Иосифа. Он наблюдал лингвистические особенности языка, записывал термины, зарисовывал предметы материальной культуры. Делал обмеры, описывал иконы.

И был также поэт и фантазер Юрий Марр, который за каждым простым явлением жизни видел особый смысл и красоту, который хотел все познать, все испытать в жизни.

Эй! Хай! Огонь воображения увлекал его неведомо куда.

Объезжает коня моего бедуин
Средь пустынных долин.

Притаясь за кусты, я лежу,
Неподвижно на камни гляжу.
И я вижу вддали, как идет караван.
Это в Мекку спешит венецианский султан,
Неустанно поют колокольцы, звенят,
Неустанно они «Дильарам»¹ говорят.



Поэзия битв, воспетых бедуйскими поэтами, толкала его на стихи:

Копьям щиты отвечали, стрелы стрелам,
Звон полновесных ударов тешил меня,
Смерть на мече отдыхала, кровь на челе.

А еще через много лет в стихах его будут звучать отголоски этих сирийских мотивов:

Рев трубы грозе подобен,
Воют стрелы гавэдум² там,
От дождя клинков по шлемам
Многих громов слышен шум там,
Стон и вопли недобитых
У мужей туманят ум там,
И в болотах вязкой крови
Тонут клочья лишних дум там,
Чрез заслон железной пыли.
Даже солнца луч угрюм там,
Если двое там сцепились,
То не жить обоим двум там,
Хоть по черепу чеканом
Быют не целясь наобум там.

Юрий бродил по базарам; одетый по обычаям страны, он сливался с толпой и слушал базарные крики: — Жемчуг! Жемчуг! Жемчуг! Мы достали его со дна моря...

— Господин! — кричал полуголый человек с длинными волосами. — Господин, посмотри, какой блеск, погляди, как переливается. Я отдам его только за десять золотых. Если бы не бедность, я бы не продал его так дешево.

— Господин, купи этот кинжал, — говорил Юрию на ухо смуглый мужчина, с длинными ресницами и подкрашенной бородой.

— Ты не пожалеешь, он режет сталь как пергамент. Ржа не тронет его, и не будет на нем зазубрин. Послушай, как звенит он — дзинь! Поистине он напоминает звуки цитры, он чувствует душу властелина. Он разбивает и запоры, и железо... Купи, господин, ты не пожалеешь».

Юрий был в Дамаске. Об этом сказано было так:

«Вчера я пришел в Дамаск. У меня болели ноги от сравнительно небольшого перехода. Но Абд-Эр-Рахман отправил меня в баню, а потом дал какой-то мази натереть ноги. У этой мази какой-то знакомый запах, но я не могу вспомнить. Абд-

¹ «Покой сердца», женское имя.

² Род стрел.

Эр-Рахман славный старик. Он прочитал рекомендательное письмо с таким видом, как будто оно ко мне не относилось, а потом все же поставил на работу».

Письмо Абд-Эр-Рахману, уважаемому, почтенному.

«Отправляем и помещаем под твою защиту этого юношу. А он уже чисто говорит по-арабски. И знает тафсиры и хорошо ездит верхом. И стреляет из револьвера. Но народный язык знает плохо... А потом помоги ему перейти в Джоуф, ибо туда он хочет идти».

Имя Абд-Эр-Рахмана встречается еще в одном отрывке:

«Знай, что ему было тридцать лет, когда он явился в Дамаск, и неизвестно откуда пришел, из какой страны. В этот день я зашел в караван-сарай почтенного Абд-Эр-Рахмана и увидел Мэстура, сидевшего за столиком и отвешивавшего золото. А перед ним лежала счетная книга. Я приветствовал Абд-Эр-Рахмана и осведомился об его уважаемом здоровье. А потом, как подобает людям, спросил:

— Вчера у тебя не было этого писца? — Он отвечал:

— Да, не было. — И больше ничего не сказал. — Если аллах захочет что-нибудь скрыть, то так это упрячем, что никто не узнает. — Видя в словах Абд-Эр-Рахмана перст божий, я не стал спрашивать».

(Записная тетрадь).

...Он не пробыл и месяца в Дамаске, как началась мировая война. Он не получал ни денег, ни писем, надо было уезжать домой, надо было расстаться с планами поездки в Яффу и Иерусалим.

Заключительным аккордом явилось «похищение аравитянки», о чем упоминается в стихотворном наброске:

Я ожидал ее у груды камней.
По дну ущелья шли верблюды,
Их догонял молочный дым.

Уж солнце в море утонуло,
Цикады чиркали в траве.

Помнишь, мы взошли на холм,
Друг на друга мы смотрели,
И не слышали, как долом
С бубенцами шли верблюды..

Он уезжал в Петербург. Турция еще не воевала с Россией, но угроза войны висела в воздухе. Шло глухое брожение, и на каждого иностранца смотрели подозрительно. Читались воззвания немецкого императора Вильгельма, который объявил себя другом ислама и призывал правоверных «завязать пояс мужества» и вступить в борьбу с неверными, он обещал свою помощь. Уже открыто говорилось о священной войне «джехад». Страстная напряженная борьба шла в то время между англичанами и немцами на землях Передней Азии — Сирия, Палестина, Древняя Халдея были в центре интересов тех и других...

АКТЕР ИСКАЛ ДРАМАТУРГА

Все, с чем было связано имя Серго Закариадзе, носило печать его таланта, даже неосуществленные надежды (а их было немало в «рабочих» планах актера — директора театра, актера—депутата парламента), все ушло в историю. Она сохранила для нас образ великого труженика искусства, как символ артистической влюбленности в свое дело, феноменального трудолюбия и профессиональной бескомпромиссности.

Для Серго Закариадзе, истратившего себя до последней крупинки энергии, немислима была «узкая» специализация. Он не хотел и не мог быть только актером театра. Его трудовые дни, а с ними и месяцы, и все годы сознательной жизни распределялись между театром и кино, эстрадой и педагогической работой, общественной деятельностью, постоянным самосовершенствованием. И все же ему не хватило времени познать и выразить себя до конца. Он метил, примеривался к высоким целям, но самой высокой точки в своем творчестве ему, видимо, не суждено было достигнуть. Был начат седьмой десяток, но жизнь его не клонила к концу — была еще в зените. Она буквально оборвалась, застигнув всех врасплох.

Серго Закариадзе не умещался в общепринятый актерский стереотип и в смысле создания своего репертуара. Обычно актеры получают роли, ждут своих героев, хотя в воображении уже примеривают костюм Гамлета или Тартюфа. Серго Закариадзе не сыграл бы и половины своих ролей, особенно образов современников, если бы придерживался позиции пассивного ожидания. Еще одной из форм разделения его человеческих и актерских энергоресурсов была стихия борьбы. Добиваться, наложить вето на тот или иной образ он умел бесцеремонно, неотвратно. Недоброжелатели называли эту его черту назойливостью, эгоистичностью, неколлегиальностью.

И сегодня нередко можно слышать про ту или иную роль, что она требует закариадзевского таланта и его личностных качеств. Но как родилась такая эстетическая норма, разве только исполнением общеизвестных образов драматургии или предложенных самими авторами пьес на историческую и современную тему? Конечно, нет. Мало кто из грузинских актеров может похвастать таким репертуарным урожаем, как Серго Закариадзе — драматургические или кинематографические образы выкраивались по мерке его актерских и человеческих возможностей и далеко не без его непосредственного и самого активного участия. Можно сказать, он сам писал

для себя роли, потому что в нем жил многоликий образ беспокойного, деятельного, духовно богатого человека наших дней с чертами крестьянина и интеллигента, рабочего и солдата, ошибающегося, страдающего, но сильного и значительного сознанием своего высокого общественного назначения. Эти образы не давали покоя породившему их художнику, стремясь вырваться наружу, чтобы начать самостоятельную жизнь. И Серго Закариадзе искал партнеров по творчеству, которым были духовно родственны герои. Актер искал и находил их — драматургов, сценаристов, режиссеров. Так родился Георгий Джапаридзе в пьесе «Секретарь райкома» — Р. Табукашвили, вымеренный габаритами закариадзевского таланта, многие киногерои и среди них знаменитый «отец солдата». Так состоялась встреча Серго Закариадзе и начинающего прозаика Отия Иоселиани, о которой мы хотим сегодня рассказать, сделавшая последнего драматургом, а Серго Закариадзе — его первооткрывателем. Сегодня пьесы Отия Иоселиани широко известны — его «Пока арба не перевернулась» исколесила не один километр театральных дорог у нас и за рубежом. «Шесть старых дев и один мужчина» — любимая комедия грузинских актеров и режиссеров. «Заколдованная вершина», «В плену у пленников» и «Выстрел из кремневого ружья» — говорят о неслучайности драматургии в писательских интересах Отия Иоселиани.

В 1961 году вышел в свет первый сборник его новелл, покоривший читательскую аудиторию Грузии.

Серго Закариадзе прочел новеллы и отыскал их автора. Затем... но лучше послушаем рассказ самого Отия Иоселиани.

«У меня и в мыслях не было стать драматургом, не случись такое. Я редкий гость Тбилиси, вот почему меня нелегко найти друзьям. Правда, не всегда, иной раз я сам навещаю к ним.

Так было и в тот вечер. Я заглянул к своим друзьям.

— Наконец-то!..

— Два дня как приехал. Что, соскучились?

— Ничего, проживем и без тебя. Но вот Серго хочет тебя видеть.

— Какой Серго?

— Закариадзе! Если найдется время, говорит...

— У меня или у Серго?!

— Ну, тогда поехали, через час закончится спектакль.

Мы отправились в театр. Вскоре из гримерной вышел Серго. Меня представили.

— Я прочел ваши новеллы, — сказал он.

— Доставили они вам хоть немного удовольствия?

— Знаете что? У меня родилась идея! Мне кажется, что вы должны написать пьесу.

— Не думаю.

— Почему? Не говоря о другом, вам хорошо удастся диалог. Кроме того...

— Но я и театра-то не знаю как следует.

— Не беда. Зато мы его знаем.

— Вы-то знаете, но...

— Используйте нас, мы здесь, к вашим услугам!..

¹ «Театральный Тбилиси», 1962, № 18, с. 15—16.

«Человек рождается однажды» — так назвал О. Иоселиани своего драматургического первенца. В тот сезон (1961-62 гг.) Серго Закариадзе, кроме участия в репертуарных спектаклях театра Ш. Руставели, был занят на киносъемках одновременно в двух фильмах — «Палиастоми» и «Морская тропа» (в обеих лентах он исполнял главные роли). Буквально разрываясь между Тбилиси, Поти и Батуми, он не упускал из виду Отия, постоянно требуя продолжения работы над пьесой. Он письмами атакует писателя, не давая ему успокоиться, «отдохнуть» или забыть о работе. Серго Закариадзе, не удовлетворившись перепиской, два раза ездил к нему в село Гвиштиби близ Цхалтубо, затем вызывал Отия в Батуми и Поти и там, между съемками и после них, обсуждал, разыгрывал, варьировал отдельные эпизоды, поведение героев, уточняя построение сцен, целых действий и всей пьесы.

Серго Закариадзе уговаривал, убеждал, хвалил, ласкал, подбадривал, а иной раз и подсмеивался над «трусостью» молодого писателя. И добивался желаемого результата. Все это нетрудно заметить в предлагаемых ниже письмах, а еще и то, как бережно относился он к писательскому труду, как наслаждался он самим процессом рождения образа, наблюдая, как обростает он жизненными чертами, психологическими наслоениями глубоко страдающего человека, которого война сделала несчастным. Но Серго Закариадзе беспокоен емкостью и содержанием не только «своего» образа, но и всех до единого из антуража Минаго, выкраивая для каждого сцену с солирующей партией.

Письма Серго Закариадзе не нуждаются в комментариях — деловые, сконцентрированные на одной теме, как если б обсуждаемый в них вопрос был самой главной и единственной его жизненной заботой, без решения которой немислимо спокойное существование и вообще работа в театре. И это было действительно так, ибо для Серго Закариадзе в искусстве не существовало моментов, способных «пождать». Все требовало его внимания сегодня, в данный момент, и именно в содружестве с избранным им партнером.

Этери ГАЛУСТОВА

Письма Серго Закариадзе

к Отия Иоселиани



г. Поти, 24 ноября 1961 г.

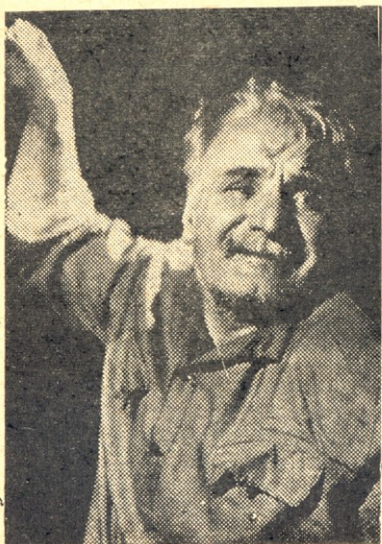
Призет тебе, Отия, жене и твоим детям.

Я уже в Поти и, видимо, останусь здесь еще дней на десять. Если у тебя найдется экземпляр для меня, вышли мне его сюда по адресу — гостиница «Колхида», Серго Закариадзе. Теперь кое-что о пьесе.

Когда фронтовик впервые появится на сцене и спросит Минаго, пусть не стоит он в дверях, а войдет, так сказать, основательно, с намерением остаться надолго. Возможно, Минаго нет дома, но он где-то поблизости, работает на огороде или забрел к соседям. (Это с точки зрения фронтовика, конечно).

Татия встретит его как гостя, угостит, вынесет ему фрукты и водку. Фронтовик уже в ходе беседы узнает, что Минаго запаздывает. Затем он поинтересуется, где его жена, и когда узнает, что она больна, поспешит уйти. И его никто не сможет задержать.

После ухода гостя Татия сделает укол больной, вернувшийся с полдороги фронтовик сядет опять за тот же стол. Я



О. Иоселиани. «Человек рождается однажды». Минаго — Серго Закариадзе.

это пишу потому, чтобы при втором появлении фронтовика на столе уже стояли водка и фрукты. И пусть сама Татия нальет ему водку. Нужная деталь.

Второе. После вторичного ухода фронтовика Татия, ошеломленная его рассказом, долго будет стоять неподвижно, молча. И уже погода развернет посылочку и медленно будет доставать из платка отдельные предметы. Постепенно погаснет свет, стемнеет. Так и для Татии зашло солнце, наступил вечер, потом полная тьма. Будут видны лишь очертания фигуры Татии.

Тогда-то и появится Минаго. Ему невдомек, почему темно в доме. Было бы хорошо повести часть диалога Минаго и Татии в темноте, до того, как они зажгут керосиновую лампу. Примерно так — вся комната погружена в темноту, и только синеватый свет пробивается через окно. В такие минуты человеку как-то по-особенному холодно, его охватывает внутренний озноб. Это подойдет к ситуации и создаст настроение.

Сам диалог же оставляет впечатление разговора о том о сем. Подумай о нем.

Третье. Может, в следующую картину ты включишь рассказ или упоминание Минаго о его работе. Мол, «перекопал всю землю», наработался. Проведешь тему — земля и крестьянин, об их взаимной любви. Работа развлекла его, он даже стал замечать жизнь вокруг себя. Его рассказ о работе должен подбодрить заболевшую Татию, вдохнуть в нее жизнь, возбудить интерес к ней.

Четвертое. Сисо едет в Тбилиси, чтобы повидать Татию, и здесь, вероятно, закончится картина. Или, может, лучше, чтобы старики задержались в деревне и на том поставить точку на их ролях, конечно, если Минаго не будет нужен в финале, в сцене с молодыми.

Итак, мой Отия, начинается следующая картина. На сцене Сисо и его тетя. Вероятно, он уже виделся с тетей, и она ему все рассказала. Он послал ее за Татией. Возможно, что Сисо будет на сцене один, без слов. И только немного погодя подойдут тетя и Татия. Сисо скажет Татии все, что его беспокоит, хотя бы даже в присутствии тети. Ему нечего скрывать, а для тети это имеет значение — ее функция укрупнится. Она станет значительней, мы лучше ее поймем. Сисо уйдет. Может, там вокзал, чтобы там переждать, или в другое место. И все по той причине, что Сисо не хочет встречаться с Гоги. Входит последний. Его удивит отчаяние на их лицах. Может, ему все расскажет тетя, а Татия будет молчать? Возможно, после своего прозрения Гоги сам возьмет в руки инициативу и в благородном порыве пойдет за Сисо на вокзал, как бы доказывая, что он сторонник их встречи. Все его поступки объясняются желанием облегчить положение Татии, а в душе он глубоко страдает.

Начиная с рассказа фронтовика и в последующих картинах стены комнаты должны как бы сужаться, что будет особенно ощутимо в сцене, когда Татия одна.

И еще. В сцене болезни Татии или на званом ужине в честь Татии и Гоги, тетя будет находиться в деревне и вместе

с ними отправится в город. В итоге образ тети станет более совершенным и встанет в один ряд с образами Татии, Минаго, Сисо, Гоги, матери. Тетя внесет в пьесу еще одну краску, недостающую у других героев. Одним словом, мы еще поговорим о пьесе, особенно об образе тети. Он должен получиться очень колоритным и своеобразным.

Не ленись и напиши мне о своем мнении, тем самым избавишь меня от ненужных размышлений.

Будь здоров. Привет всем.

С уважением Серго.

* * *

г. Батуми, 13 декабря 1961 г.

Здравствуй, Отия!

Привет тебе и твоей семье. Мы как-то потеряли друг друга. К сожалению, в жизни бывает и не такое. Наверно, ты уже несколько раз побывал в Тбилиси. Интересно, как идут твои и наши дела. Откровенно говоря, будь ты рядом, мы сделали бы значительно больше. Видимо, обработанную часть пьесы ты не смог перепечатать, иначе разве так трудно было просмотреть ее. Сейчас я в Батуми, а затем переберусь в Махарадзе, где сейчас обосновалась съемочная группа «Палиастоми» (в гостинице).

Я очень много думаю о пьесе, но что огниво без кремня. Будь ты рядом, многое бы прояснилось для меня. И все же я пишу тебе, хотя мое оружие — непосредственный рассказ, мимика, движение, чего не заменит никакое, даже самое хорошее описание.

Итак, Марта и Минаго решили поговорить с Татией о ее замужестве. Они — Минаго, Марта и Татия — остаются после ухода Гоги. Его проводили или он сам ушел, решай по своему усмотрению.

Разговор вначале будет общий. Когда же подойдет время сообщить Татии о необходимости обзавестись семьей, первое слово возьмет Марта. Она будет говорить о самых разных вещах. Она использует всевозможные аргументы — и послловицы, примеры из прошлого, смех, слезы, будет безбожно тянуть, растягивать слова, фразы, все время поглядывая на Минаго (для поддержки).

Но Татия превратится в камень, гранит. Она даже думать не хочет о замужестве, ее сломить трудно. Защищаясь, она становится беспощадной. Минаго сидит рядом, но нем, как могила.

В этой сцене Марте дается простор. Зритель должен увидеть Марту всю, со всеми ее положительными и отрицательными чертами. Со своим узким кругозором, небольшим умом и огромным чувством. Марта — хозяйка, умеет смотреть за домом, убирает, готовит. Но чувствуется, что есть в семье старший. Он дает ей силу, подгоняет ее. Но тот, кто властен над ней, сидит рядом, словно окаменевший.

Татия героически защищается, находит силы дать отпор, не потонуть... Мы видим, что она побеждает, выходит на берег,

ощущает землю под ногами... Но вдруг она тут же поворачивается и падает на колени перед Минаго (это я говорю образно, чтобы лучше выразить свою мысль) и начинает умолять его. Но он встанет перед ней непроходимой стеной, которую она ощущала в течение всего диалога с Мартой. Отвечая Марте, Татия фактически хотела убедить Минаго, заставить его понять себя. Видимо, ее речи не могли поколебать его решения. В ответ он не проронил ни одного слова. Молчание Минаго душит ее, и, наконец, Татия смиряется. Именно поэтому ей, взошедшей на победную высоту, не суждено было удержаться на ней, и она со стремительной быстротой скатывается к ногам Минаго. Молит его, изощряется в отговорках. Татия обессилела в борьбе, и одно ласковое слово Минаго, один его взгляд бросают ее в слезы, делают ее рабом его решения.

Если сцена будет построена по такой логике, то, мне кажется, она зазвучит и будет убеждать. Я не берусь что-либо утверждать, но главное, чтобы ты понял меня, поверил мне. Зная тебя, уверен — ты так поведешь сцену, что камня на камне не оставишь, и, слушая их речи, у каждого будет разрываться сердце от сочувствия. И чем сильнее Марта и Минаго будут просить Татию, тем страшней покажется нам трагедия, разыгравшаяся после возвращения Сисо с войны.

Это главное, мой Отия, а остальные мои соображения подождут. Меня очень интересует твое мнение по поводу сказанного сейчас и мыслей, содержащихся в моем прошлом письме. Откликнись. Я так занят, что не имею возможности думать о другом. Правда, ты не любишь писать письма, но все на этом свете преодолимо. А может, приехал бы ко мне еще раз?



О. Иоселиани. «Человек рождается однажды».
Сцена из спектакля:
Минаго — С. Закариадзе.
Почтальон — Г. Сагарадзе.

Когда я после встречи с тобой побывал в Тбилиси и рас-
сказал о нашей с тобой совместной работе обом Додо¹, они с восторгом выслушали меня и обещали сразу же по оконча-
нии работы над пьесой приступить к ее постановке. Как видишь, дело в порядке. Что тебе еще написать? Жду твоего ответа, все зависит от тебя. Будь здоров. Передай привет жене, детишкам.

Серго.

* * *

г. Батуми, 30 января 1962 г.

Здравствуй, Отия!

Будь здоров, ты и твои милые жена и дети. Очень сожалею, что ты уехал и я не смог поговорить с тобой о деле спокойно, до конца. И день выдался такой странный и суматошный.

После встречи с тобой я с большим вниманием прочел последние две картины, и одно стало для меня ясно: после «плача Минаго», то есть после блистательной сцены, увенчанной лаврами талантливости (за исключением нескольких деталей), остальные две сцены, несмотря на содержащиеся в них интересные высказывания, удачные обороты и выражения, не поднимаются до высот, достойных «плача Минаго». Этим я и объясняю равнодушие Васо² к ним. Квеселава³ даже не знал о существовании последних сцен и думал, что пьеса кончается на «плаче Минаго». Но когда я рассказал ему о продолжении, оно не показалось ему лишним, потому что в последних картинах укрупняются образы Сисо и Гоги (особенно последнего), приобретая иное значение и удельный вес.

Я думаю (будем откровенны), тебе не удалось подняться на нужную высоту, и сцены потеряли звучание, которого были достойны.

Мне кажется, и это, видимо, так и есть, ты кладешь частицу своего существа в каждую сцену, главу или эпизод (книги или пьесы). Ты как бы истекаешь, высвобождаешься сам, чтобы наполнить их жизнью, дать им дыхание, пульсацию. Это благо, великий дар, которого днем со свечой не сыщешь, особенно сегодня. Именно с такой силой написаны многие сцены, и особенно решающие эпизоды. Но в конце (мне так кажется) ты пожалел себя, и там, где следовало тебе гореть на сильном огне, ты подложил тлеющие угли — и пламя не разгорелось... Ты увлекся сюжетом, облегчил свой труд, но потерял главное, существенное. В последних сценах пьесы важна не только

¹ Додо Антадзе — в те годы директор театра им. Ш. Руставели, Додо Алексидзе — в те годы главный режиссер театра им. Ш. Руставели, постановщик пьесы «Человек рождается однажды».

² Васо — Василий Кикнадзе, театровед. В те годы заведующий литературной частью театра им. Ш. Руставели.

³ Квеселава — Михаил Квеселава. В те годы директор киностудии «Грузия-фильм».

концовка сюжета, но и духовное вознесение Татии, Сисо, Гоги. Пережитая ими история не должна принести зрителю ^{одни} лишь страдания, а великое облегчение средствами искусства. ^{в течение} Иначе можно придумать такие ужасы, что зритель в течение целой недели не сможет притронуться к еде и панически будет бояться одиночества. Сопереживая страданиям героев, он в то же время должен чувствовать облегчение, потому что автор пьесы превращает жизненное содержание в облагораживающий душу факт искусства. В этом и состоит высокое значение искусства!

Не знаю, как тебе объяснить, что написать, чтобы ты понял меня. Сейчас в голове у меня такой хаос, столько забот, что высказаться яснее выше моих сил. Но я надеюсь на тебя. Ты с полуслова понимаешь людей, а меня, кажется, еще лучше.

Одним словом, я жду от тебя в этих сценах такой жемчужины, какая обычно украшает венец, находясь в ее центре. Тебя, как мне помнится, перед написанием каждого эпизода охватывал страх («разве я смогу это сделать?!»), но, усевшись за письменный стол, ты не вставал, не преодолев трудность, а вставал, выпрямившись во весь рост. И где-то рядом барахтался страх, поверженный наземь. Обычным такой страх не назовешь. Ты сам его выдумывал, чтобы затем победить. И при самом рождении его ты для себя уже искал прием для его преодоления. Так было всегда. И в последнем сцене пьесы нельзя сказать, что твои старания безуспешны. Противник как будто побит, но победителем тебя не назовешь. Что-то вроде полупобеды. Противник упал, ему помяли бока, но не уничтожили. И оттого не хочется праздновать победу. Ее-то фактически и не было.

Вот что я хотел тебе сказать, и еще — жду остальные страницы. Что касается деталей, то ты знаешь о них. Что ж, будь здоров. Привет твоим близким.

Серго.

P. S. Меня очень интересует твоя позиция. Напиши мне в Тбилиси, там я буду 6 февраля.

Сегодня перед отправлением письма я еще раз перечитал последние две сцены и окончательно убедился в необходимости пересмотреть финальные эпизоды, придать им размах и значительность. Или, может, придумать нечто новое в смысле приема?

Хорошо молчание Татии. И длинная речь Сисо хороша (я немного подправил). Но нужны своеобразные тормоза, барьеры, которые он при ее произнесении должен преодолевать. Что-то мешает ему, Сисо отстраняет препятствие и продолжает говорить. Чтобы не получилось, что он говорит ровно, гладко, длинно. Тебе видней.

Эпилог не получился. Все должно быть без лозунгов.

ЦАРИЦА ТАМАР И РЫБИНСК

Литовский живописец и коллекционер Владимир Касаткин в бытность свою в России, в городе Рыбинске Ярославской губернии, среди прочих древностей обнаружил икону — деревянную дощечку, на которой изображена женщина в царских одеждах, увенчанная короной, с нимбом вокруг головы. Вдоль дуги, изображающей нимб, древнерусскими письменами выведено: «Святая Тамар, царица грузин». Картина выполнена в реалистической манере,



ре, характерной для русского иконописного искусства XVIII века, проливающей свет на время и место ее происхождения. Однако... кто в далекой России молился перед образом причисленной к лику святых грузинской царицы, для кого он служил божеством? Как попало в Рыбинск изображение царицы Тамар, ставшей символом мощи и величия феодальной Грузии? Вот какие вопросы возникли в связи с этой удивительной и уникальной иконой.

Народный художник СССР Аполлон Кутателадзе рассказывал по этому поводу: «Мой коллега, литовский художник, узнав о том, что в одной из своих картин я воссоздаю эпоху царицы Тамар, подарил мне эту икону. Мне думается, что она — осколок прошлого нашей страны и ее место здесь, в Грузии. Отныне икона будет находиться в Государственном музее искусств Грузии...»

Какие же исторические явления лежат в основе великих деяний царицы Тамар, столь прославивших ее имя как в Грузии, так и за рубежом?

Известно, что в эпоху правления царицы Тамар Грузия переживала пору своего расцвета. Процветали хозяйство страны, торговля, Грузия про-

славилась победоносными войнами. Тамар одерживала победы на всех фронтах жизни.

Историографией установлено, что в русской духовной литературе «Сказание о Динаре» известно с XIII века. Это произведение переведено с греческого. Хотя судьба оригинала его по сей день неизвестна, существует мнение, что сказание о Динаре — это перевод «Жития Тамар», созданного в Трапезундском царстве. Трапезунд, правда, входил в ареал греческой культуры, однако, поскольку большая часть его населения этнически была грузино-лазского происхождения, в политическом отношении придерживался грузинской ориентации. Сказание о царице иверов Динаре было очень популярно в России в средние века. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Иван Грозный в своих обращениях к войску и народу часто упоминает Динару. В XVI—XVIII веках с расширением грузино-русских взаимоотношений Динара постепенно заменяется

Тамарой. После переселения Вахтанга VI в Россию Динара в списках сказаний исчезает полностью.

Сила и мощь царицы Тамар была известна не только пограничным с Грузией странам. Победы христианского государства над мусульманскими странами воодушевили единоверную Россию. В Грузию стали приезжать российские послы. К этому времени относятся победы грузинского войска в Иране.

Единоверный русский народ воздал должное грузинской царице, ее уму, человеколюбию. Забота, которую она проявляла по отношению ко всем обиженным и угнетенным, защита христианского мира — вот те исторические факты, обусловившие ее популярность до такой степени, что она была причислена к лику святых. Изображение грузинской царицы попало из Грузии в Рыбинск и было использовано для икон.

Вот где находятся истоки русско-грузинских взаимоотношений.

«ИЗБРАННОЕ»

КНИГА Эгнате Ниношвили включает его повести и рассказы в переводе с грузинского Фатмы Твалтвадзе. Открывается «Избранное» повестью «Восстание в Гурии». Как и в других произведениях сборника, в нем с огромной обличительной силой отображена современная автору социальная обстановка. Эгнате Ниношвили возглавлял ту плеяду грузинских писателей, которая, выступив на литературном поприще в конце прошлого столетия, сыграла неоценимую роль в деле революционной мобилизации и сплочения народных масс. Творчество выдающегося представителя критического реализма, писателя-революционера Эгнате Ниношвили, по словам автора критико - биографического очерка о нем Бесо Жгенти, «навсегда заняло почетное место в золотом фонде многонациональной культуры братских народов Советского Союза».

Читателя в этой книге, выпущенной недавно на русском языке издательством «Мерани», заинтересуют, очевидно, не только художественные произведения Э. Ниношвили, но и включенные в нее авто-

биография и письма писателя, а также завершающий том обстоятельный критико - биографический очерк, посвященный его жизни и творчеству.

«ИЩУ ЗАВЕТНЫЙ СЛЕД»

«...ЭТА книга стихов, — читаем в вводной статье Юрия Суровцева, озаглавленной «Душа поэта распахнута перед тобой», — по сути небольшое «Избранное» известного советского грузинского писателя Ираклия Абашидзе». Обращаясь к юному читателю — книга вышла в издательстве «Детская литература» (Москва, 1979), — Ю. Суровцев говорит, что писалась она не специально для него, а сложилась из произведений, рассчитанных на людей более старшего возраста. Но поскольку юность не только и не просто возраст, а еще и состоянье души, то поэты понимают и чувствуют ее лучше, чем кто бы то ни было другой. И поэтому книга эта, по мнению автора предисловия, будет и интересна юным, и поучительна для них. В ней перед нами распахнута душа поэта.

В со вкусом оформленный и хорошо изданный сборник

вошли два цикла: «Лирика разных лет» и «По следам Руставели». Каждый из них в свою очередь имеет тематические подразделы. В «Лирике разных лет» это: «Дай мне быть с тобою», «Когда молчат музы», «Душа поэта», «Далекая Шхелда». Цикл «По следам Руставели» содержит два подраздела: «В знойной Индии» и «Палестина, Палестина!».

Стихи приведены в переводе Н. Тихонова, А. Межирова, Е. Евтушенко, Вл. Солоухина, Б. Ахмадулиной, Ю. Ряшенцева, М. Синельникова, Н. Гребнева, М. Максимова, П. Шубина.

«ГОСТЬ»

ТАК называется роман известного грузинского писателя Гурама Гегешидзе, чье творчество знакомо русскому читателю по публикациям в журналах и книге «Расплата», вышедшей в издательстве «Мерани». Роман «Гость» выпущен тем же издательством в 1979 году в переводе с грузинского А. Беставашивили и В. Федорова-Циклаури. Как и прежде, писатель утверждает в своем новом произведении, привлекая внимание широких кругов грузинских читателей, сострадание к людям, любовь к человеку, к родине.

КОСТА ХЕТАГУРОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГРУЗИНСКИЙ народ, как и все народы нашей страны, широко отметил юбилей выдающегося осетинского поэта и писателя К. Хетагурова.

В Тбилиском академическом театре имени Ш. Руставели состоялся вечер, посвященный 120-летию юбилею поэта-трибуна, основоположника осетинской литературы.

Вечер вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии, Герой Социалистического Труда Г. Абашидзе.

С докладом на вечере выступил кандидат в члены бюро ЦК КП Грузии, первый секретарь Юго-Осетинского обкома Компартии Грузии Ф. Санакоев.

— Творчество Хетагурова, — подчеркнул докладчик, — по идейной глубине, широте охвата жизни, силе влияния на последующее развитие осетинского искусства — исключительное явление в духовной летописи нашего народа... С именем Коста Хетагурова в Осетии связывают все самое возвышенное, лучшее, светлое и прекрасное... Коста — гений, творец, альтруист, путеводная звезда униженных и обездоленных — вот понятия народа, из которых слагается памятник поэту-гражданину... Певец дружбы народов проявлял особые чувства к грузинскому народу и его культуре,

его связывали тесные узы дружбы с А. Казбеги, М. Кипиани, академиком А. Твалчрелидзе, композитором Д. Аракишвили.

Слово о Коста произнес секретарь правления Союза писателей Грузии, председатель комиссии по осетинской литературе при Союзе поэт Дж. Чарквиани!

О значении творческого наследия К. Хетагурова, дружбе осетинского и грузинского народов, литературных и культурных взаимосвязях говорил в своих выступлениях академик Академии наук Грузии Ш. Дзидзури, лауреат Государственной премии СССР скульптор М. Бердзенишвили. С чтением стихов К. Хетагурова и стихов, посвященных ему, выступили поэты И. Нонешвили, М. Поцхишвили, Г. Дзугаев.

От имени Северо-Осетинского обкома КПСС, Президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР и Совета Министров автономной республики на вечере выступил Председатель Совета Министров Северной Осетии М. Цагараев.

На вечере присутствовали товарищи Э. Шеварднадзе, Г. Колбин, Г. Енукидзе, Т. Ментешавили, З. Патаридзе, О. Черкезия, советские, профсоюзные и комсомольские работники, грузинские и осетинские писатели.

Вечер завершился большим концертом с участием осетинских и грузинских мастеров искусств.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ОТДЕЛ фольклора Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели подвел итоги экспедиционного лета.

В различные уголки Грузии были посланы экспедиции, которые собрали много интересных фольклорных материалов.

Кандидат филологических наук Г. Шетекаури руководил экспедицией, которая собрала образцы народного творчества, отображающие современность в Тетрицкаройском районе Грузии. Записаны образцы поэтического фольклора, рассказывающие о тружениках села, а также песни, относящиеся ко времени Великой Отечественной войны.

Научно-фольклорная экспедиция, руководимая профессором А. Цанава, работала в высокогорных селах Казбегского района. Участникам экспедиции удалось записать оригинальные фольклорные материалы, относящиеся к известной поэме И. Чавчавадзе «Отшельник», и собрать новые издания биографического характера, связанные с А. Казбег и его произведениями.

Жинвальская экспедиция, руководимая кандидатом филологических наук Д. Гогочури, записала многочисленные образцы современного фольклора: песни, частушки, стихи.

В селах Ткибурского района Грузии четвертая экспедиция, возглавляемая кандидатом филологических наук Г. Ахвле-

дани, собрала интересные образцы современного фольклора народного творчества. Лучшие образцы современного фольклора будут включены в многотомное издание «Грузинская народная поэзия».

ГОСТЬ ГРУЗИИ — УЧЕНЫЙ ИЗ ГДР

В СТОЛИЦЕ Грузии гостил известный ученый - картвелолог из ГДР, доктор филологических наук, заведующий кафедрой теории языка секции языкознания Йенского университета Хайнц Фенрих.

Х. Фенрих—автор переводов на немецкий язык таких произведений грузинской литературы, как народный эпос «Амираниани», «Мудрость вымысла» Сулхана-Саба Орбелиани, «Долгая ночь» Г. Абашидзе.

Основная цель командировки ученого — сбор материалов для очередного номера журнала «Георгика» — совместного издания Тбилисского и Йенского университетов, который издается в год раз на немецком языке.

Ученый из ГДР встретился со своими грузинскими коллегами, совместно с которыми он завершает работу над созданием грузинско-русско-немецкого разговорника.

Вскоре Х. Фенрих начнет совместную работу с академиком Академии наук Грузинской ССР Ш. Дзидзигури по теме «Сопоставительное изучение грузинского языка с другими языками мира».



КАПЛАН Абрам Лазаревич. Кандидат филологических наук, доцент. До Великой Отечественной войны работал в Варшавском университете. С 1945 года преподает в Ленинградском университете и Государственном педагогическом институте имени Герцена (Ленинград). Основной круг научных интересов — вопросы стилистики (на материале современного немецкого языка), теория и практика метафоры (тема докторской диссертации), немецко-словенские культурные связи.

НЕРЛЕР Павел Маркович. Род. в 1952 г. Поэт и критик. Автор работ о русско-грузинских литературных взаимосвязях. Печатался в «Дружбе народов», «Юности», «Литературной Грузии», «Памире» и «Московском комсомольце».

СЕМЕНОВА Светлана Григорьевна. Окончила филологический факультет Московского государственного университета и аспирантуру при Литературном институте имени М. Горького. Кандидат филологических наук. Автор около двадцати напечатанных научных работ по проблемам русской и зарубежной литературы и философско-эстетической мысли.

ТУХАРЕЛИ Дмитрий Александрович. Род. в 1925 г. Доктор филологических наук, профессор. Автор ряда научных трудов и журнальных публикаций. Исследователь жизни и творчества В. Маяковского, проблем теории литературы, современной советской литературы, в частности литератур народов СССР и связанных с ними проблем литературных взаимосвязей.

„ლიტერატურული მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურუნალი (რუსულ ენაზე)“

— უკველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ურუნალი (რუსულ ენაზე)

გამოდის 1957 წლის იანვრიდან. № 11 ნომერი, 1979 წ.

Сдано в набор 12 октября 1979 г. Подписано к печати 30 ноября 1979 года. 5 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 84×108¹/₃₂.

40 коп



ИНДЕКС 76117
202 00000000